

*Литературный
альманах*

ВЗМАХ

«Геликон Плюс»
Санкт-Петербург
2015

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)44
В 40

Взмах
В 40 Литературный альманах. — «Геликон Плюс», Санкт-Петербург, 2015. — 192 с.

ISBN 978-5-93682-984-0

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)44

© Аствацатуров А. А., предисловие, 2015
© Мячин Б., Дорохов А., Ратников А.,
Мажара О., Ильичев Л., Стеценко Н.,
Моисеенко Н., Бесман А., Брик Ж.,
Вайнштейн А., Гесь Е., Бугмырина Е.,
Февраль Д., Малофеева М., Громов М.,
Дмитриева Е., Диканов Д., Карлин Н.,
Асанова А., текст, 2015
© Геликон Плюс, оформление, 2015

От составителя

Споры о назначении литературы, о том, надобна ли она, о ее сути велись с незапамятных времен.

«Мы — мастера и подмастерья слова», — скромно представлялись средневековые литературные мастера.

«Мы поучаем, развлекаая, и развлекаем, поучая», — смущенно добавляли классицисты.

«Ничего подобного! — шумно и уверенно возражали романтики. — Мы — гораздо больше! Мы — вдохновенные пророки! Мы — мировые стихии, обретшие голос! Мы — рыцари святого Грааля!»

Сейчас такое время, что вполне можно выбрать понравившееся. Можно жить в любой эпохе, которая приглянется, и даже совмещать в себе мастера-профессионала и романтически-вдохновенного дилетанта. Однако во все времена литература для самого художника неизменно оставалась одним и тем же — «средством самоограничения». Так считал великий Гёте. Вот, к примеру, собрались мы написать некий текст, повинувшись какому-то безотчетному порыву. У нас уже есть место действия. Есть сюжет, точнее, фабула. Есть герой, даже целых два. Но все это пока только предварительный материал. Мир, окружающий нас, и тот, который может окружить нашего героя, необозримо огромен, чудовищно богат. Наши собственные головы распирают эмоции, впечатления, образы, слова. Как из всего этого выделить самое главное? Как отобрать то, что нужно именно тебе и твоему персонажу? Какие детали следует оставить, а какими — пренебречь?

Перед нами на столе чистый лист бумаги или пустой светящийся монитор. И помощи ждать неоткуда. Тут можно поведи себя по-разному. Можно сидеть, дожидаться вдохновения и, дождавшись, самовыразиться как бог на душу положит. Можно пойти чужим проторенным-проверенным путем и воспользоваться приемами мастеров прошлого — большинство поступает именно так. Но можно выбрать третий путь и попытаться сознательно, независимо от приливов-отливов организма, построить свою собственную, самодостаточную, правдоподобную вселенную.

Мы с писателем Дмитрием Ореховым ведем литературную мастерскую вот уже третий год и пытаемся помочь начинающим авторам разобраться в этих творческих проблемах. Проводим лекции, семинары, объясняем, как организовать сюжет, как найти нужных персонажей, как выстроить сцены, диалоги, как придерживаться верной интонации в повествовании. Мы предлагаем примерные варианты решения литературных задач и подробно рассказываем, как с ними справлялись великие мастера прошлого: Л. Н. Толстой, В.с. Гаршин, А. П. Чехов, О. Уайльд, О'Генри, А. Бирс, Ш. Андерсон, С. Моэм, И. Бунин, Е. Замятин, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, Дж. Апдайк, Дж. Сэлинджер и многие другие.

Из всех литературных жанров мы выбрали рассказ. Именно рассказ, хотя бы один, должен написать в качестве итоговой работы каждый слушатель нашей мастерской. Рассказ, как нам кажется, должен стать главным, самым насущным опытом каждого начинающего писателя. Научиться писать рассказы сложно. Длинный роман, поверьте опыту, написать куда проще и безопаснее. Он скроет сюжетом и объемом все ошибки и слабости, а рассказ, как экран, тотчас же их высветит. Это как перейти бурную реку по узенькому мостику. Одно неловкое движение — и ты уже в воде. Лишнее, случайное слово, неточная фраза, неудачный образ могут убить самый хороший рассказ наповал. Здесь требуется особое мастерство.

В настоящем альманахе мы собрали рассказы, написанные слушателями нашей мастерской. Те рассказы, которые нам показались самыми удачными, вернее, говоря преподава-

тельским языком, «выполненными профессионально». Они различаются стилистически, интонационно, тяготея то к типизации реализма (В. Дорохов, А. Ратников, М. Громов), то к расколотости романтизма (Е. Бугмырина, А. Асанова), то к фотографичности натурализма (Д. Хряпов, Ж. Брик, Д. Диканов, А. Бесман, Н. Моисеенко), то к сложности модернизма (О. Мажара), а иногда и к традиции абсурда (Б. Мячин, Е. Гесь, А. Вайнштейн, Л. Ильичев). Места действия могут быть привычными, но порой оказываются самыми неожиданными и рискованными: подземный переход (Б. Мячин), городской дворик (А. Ратников), автомобиль (Н. Карлин), кабинет психотерапевта (Н. Стеценко), театральная ложа (Л. Ильичев), вагон электрички (Н. Моисеенко), больничная палата (А. Бесман), провинциальный городок (М. Малофеева), городские квартиры (Н. Асанова, Ж. Брик). Именно здесь, в этих декорациях разыгрываются небольшие сюжеты, где действующими лицами оказываются не столько люди, сколько их глубокие, сильные страсти.

Работая над этой книгой, собирая и редактируя ее, я получил огромное удовольствие, и надеюсь, читатель его со мной разделит.

Андрей Аствацатуров

Борис Мячин

Поэт

я так мечтала что останусь поэтом
я все обещаю за это, поэтому
дай мне
такую силу чтобы
кровь отмерла, чтобы сны приходили,
выросли крылья и звезды открыли мне
тайны

Анна Сопова

В минувшую субботу в подземном переходе, связывающем станцию метро «Петроградская» с той стороной Каменноостровского, появился человек в шляпе и с белой тростью. В переходе было тихо, гулко и безлюдно, если не считать подвыпившей бабенки с жирно подведенными, *a la Cleopatre*, глазами.

«Снова курю а-а-адна!» — сфальшивила бабенка, хватаясь рукой за перильца.

Человек тяжело вздохнул и пошел вдоль стены, ощупывая кафельную плитку, пока не нащупал выщербину, наскоро замазанную цементом. Он любовно погладил выщербину, словно маленького котенка, и поставил на холодный пол шляпу и рядом с нею — картонную табличку следующего содержания: «*ПОЭТ. Сочиняю стихи за деньги. Придсказываю погоду. Объясняю вашу судьбу*».

Первым прохожим, обратившим внимание на поэта, стал человек в очках; он ничего не сказал, только усмехнулся и пошел дальше.

Мимо прошли два мужика в рабочих тулупах, один с доской на плече, а другой — с перфоратором.

— Во, смотри, — сказал один мужик другому, — поэт!
— Да ну его, — махнул рукой второй мужик. — Он тут каждую субботу стоит.

Подошла женщина с сумкой.

— У вас ошибка орфографическая, — сказала она.

— Я знаю, — ответил поэт хриплым голосом, который как будто долго мяли, трепали, рвали и только потом вставили в глотку. — Это я специально написал, чтобы жалко было. Чтобы у людей чувства пробудились.

— Чувства никому не нужны. Всем только деньги нужны. Я бы вам дала денег, но у меня наличными осталось всего тридцать пять рублей на автобус, а все остальное — на карточке.

— Но я же не просто так денег прошу, — виновато развел руками поэт. — Я не собираюсь. Я вам за это стихи сочиню.

— Спасибо, не надо, — сказала женщина с сумкой и ушла на автобус.

Мимо проходил пухлый дядька, который держал за руку не менее пухлую девочку с воздушным шариком в виде голубого зайца. Он подошел к поэту, сунул ему в руку пятьдесят рублей и сказал:

— Вот, сочини для ребенка что-нибудь.

— Простите, для детей не сочиняю, — проговорил поэт.

— Почему?

— Не знаю, не получается.

— Если у вас тут только взрослая поэзия, — обиженно заявил пухлый дядька, — тогда на вашей табличке должна быть маркировка «шестнадцать плюс». Пойдем за бубликами, Нюша, все равно от этих евреев ничего полезного не дождешься.

— Я не еврей, — сказал поэт. — Сегодня же суббота, а евреи по субботам не работают. А я, как вы видите, работаю.

— Все поэты — евреи, — сказал пухлый дядька и, немного подумав, добавил: — Кроме Пушкина.

В переход зашла компания смеющихся студентов. Увидев поэта, они перестали смеяться, внимательно прочитали табличку, а потом засмеялись снова.

— Слышь, Тань, — сказал один студент, — а на твоём айфоне приложение есть, которое погоду показывает?

— Есть, конечно, — ответила девушка. — Это же айфон.

— А вот тут выясняется, что никакого айфона не нужно. Нужно просто найти в ближайшем переходе поэта, и он тебе за пару рублей не только погоду предскажет, но еще и стихи в твою честь напишет.

— Если бы вы, молодой человек, не прогуляли на той неделе лекцию, — сказал поэт, — вы бы знали, что точно предсказать погоду можно только на несколько дней вперед, а потом мы сталкиваемся с «эффектом бабочки»; иными словами, погода — это нелинейная динамическая система, которая, равно как и рост листьев папоротника, цены на хлопок или история Великого переселения народов, может быть описана разве что аттрактором Лоренца.

Студент широко раскрыл рот; казалось, он онемел от ужаса.

— Пойдем, Коля, — хлопнул его по плечу другой студент. — Нечего разговаривать с сумасшедшими...

Неожиданно вернулась женщина с сумкой.

— Вы знаете, — сказала она, — тут два автобуса, один за тридцать пять рублей, а другой за двадцать пять, городской. Так что я поеду на городском, а вам вот, десять рублей.

— А какие стихи вы хотите за десять рублей? — спросил поэт, попробовав зачем-то на зуб тусклый желтый кружочек.

— Не надо никаких стихов. Просто вот вам десять рублей.

— Спасибо.

Совершенно случайно мимо шли два филолога.

— Во, смотри, — сказал один филолог другому, — поэт!

— Да ну его, — махнул рукой второй филолог. — Он тут каждую субботу стоит.

Филологи ушли, но вместо них пришла Людочка.

— Ой, как интересно! — воскликнула Людочка. — Вас как зовут?

— Меня зовут Александр Барыкин, — сказал поэт. — Только должен сразу предупредить: я не имею никакого отношения к певцу Барыкину; ну, знаете, который пел про букет. А вас как зовут?

— Меня зовут Людочка, — сказала Людочка. — Я тоже пишу стихи, совсем немного. Хотя вообще-то я девелопер.

Мы расселяем старые дома в Коломне. Даем людям новые просторные квартиры за городом, а потом на месте старых домов строим гостиницы и бизнес-центры. Мы хотим назвать наши бизнес-центры в честь убитых русских поэтов: Пушкина, Есенина, Рубцова, но только название латиницей. Это я сама придумала. Круто, правда?

— Просто обалденно, — кивнул головой поэт. — Вы очень талантливы, Людочка.

Людочка, сияя, ушла, но почему-то вернулся студент, который не знал про аттрактор Лоренца.

— Вы меня очень сильно обидели, — угрюмо сказал он, — унизили меня перед моими друзьями. Что, вы действительно умеете предсказывать погоду?

— Нет, — соврал поэт. — Я соврал вам, Николай.

— А судьбу?

— А судьбу могу.

— Отлично. Предскажите мне судьбу. Как я умру?

— Трагически. Вас задушит ваша невеста.

— Это вы про кого, про Таньку, что ли?

— Да нет же, — разочарованно вздохнул поэт, — про какую еще Таньку! Вашу невесту зовут Людочка, она девелопер, вы должны с ней встретиться, — он посмотрел на часы, — через семь минут двадцать пять секунд на автобусной остановке, там, наверху. Только очень прошу вас не садиться в автобус за тридцать пять рублей. Вы должны ехать только обычным, городским автобусом за двадцать пять.

— Я все понял, — сказал студент. — Спасибо. Сколько я вам должен?

— Один фунт шесть шиллингов.

Потом в переходе появились еще два филолога.

— Во, смотри, Джон, — сказал один филолог другому, — поэт!

— А ты знаешь, — сказал второй филолог, — что в Европе квас, который вы считаете чем-то вроде лимонада, проходит по категории *traditional beer*? А у вас его даже дети пьют. Вот и объясни мне после этого, почему мы должны считать вас цивилизованными людьми.

— Че ты придираешься, — махнул рукой первый филолог. — Нормальная страна у нас, всяко не хуже, чем какая-нибудь Италия.

Филологи ушли, но вместо них пришел полицейский в очках, с воздушным шариком в виде голубого зайца.

— Здесь нельзя побираться, — сказал он. — Это общественное место.

— Я работаю! — раздраженно воскликнул поэт. — Я поэт!

— Я тоже работаю, — сказал полицейский. — Думаете, это легко — работать полицейским? Это ведь только в детективах у вас, у поэтов, всякие пестрые ленты, а в реальности — одно пьяное быдло кругом, все норовят урвать, ухватить, даже убить! Как хорошо, что вы слепой!

— Я не слепой, — сказал поэт, — у меня просто трость белая.

— Слепой вы или не слепой, а все равно здесь побираться нельзя.

— А где можно?

— Ну, это... в церкви, наверное...

— А если я не верю в Бога, где мне можно побираться?

— Не здесь.

— Ладно, как скажете.

Поэт вытряхнул из шляпы десятирублевки и шиллинги и, прицепив крылья, медленно полетел по переходу к станции метро «Петроградская».

— Пойдите! — окликнул его полицейский. — Вы забыли рассказать про Клеопатру!

— Клеопатра была очень одинокая женщина, — сказал поэт, не оборачиваясь.

Письма песочного человека

Упасеши я жезлом железным,
яко сосуды скудельничи сокрушиши я.

Пс. 2: 9

28 июня 1743 года. Деттинген.

Мой дорогой Стэнли!

Я пишу тебе в большом воодушевлении, не свойственном, по правде говоря, моей натуре, мизантропической и лишенной иллюзий. В этом отношении я напоминаю сам себе дублинского декана Свифта, того, что недавно сошел с ума. Безусловно, человек, особенно человек современный, достоин того, чтобы о нем говорили, но совершенно необязательно всегда говорить в превосходной степени. Элементарный *diagnosis ex observatione* подсказывает разуму, что большая часть человечества недалеко ушла от американских дикарей. Законы, которыми мы живем, суть припудренные обычаи, присущие любому обществу, в основе которого тщеславие и глупость, часто переходящие друг в друга, только у американцев это выражается в количестве снятых скальпов, а у англичан — в денежном эквиваленте.

Но довольно об ухе Дженкинса и прочем варварстве. С радостью сообщаю тебе, мой дорогой Стэнли, что прагматическая армия, ведомая нашим королем Георгом, отбросила атаковавших нас вчера французов за Майн. Я сопровождал короля практически все время и могу сказать: никогда еще я не был так уверен в силе английского оружия. Конечно, я, как и все, не могу одобрить наши вынужденные траты на войну. Король щедро субсидирует империю, рассчитывая, очевидно, что это отведет угрозу от столь любезного ему Ганновера.

После боя по просьбе короля мне пришлось оперировать австрийского полковника. Пуля раздробила *os frontale*. Мне пришлось вынуть глаз и наложить повязку.

Передавай привет Б. А. Я его очень люблю.

Твой Джон.

P. S. Что ты думаешь о русских? Примут ли они участие в войне? Я читал у Томсона о русских красавицах, чистых, быстрых, пышногрудых и ловких в движениях на коньках.

12 мая 1745 года. Фонтенуа.

Дорогой Стэнли!

Мориц нанес нам унижайшее поражение. Я сам получил рану. Вот как это было. Под барабанный бой наши пехотные колонны двинулись на французов. Когда же мы подступили на расстояние выстрела, один из наших офицеров вышел вперед и сказал: «Джентльмены, стреляйте первыми!» Французы тоже сначала расшаркивались, но потом взвели курки и произвели залп, начисто выкосивший половину наших солдат.

Эта глупая война противоречит всему, что мы видели раньше. Рыцарства больше не будет, будут только кровь и смерть. Есть вещи, которых я не понимаю. Например, по какой причине просвещенные европейские государи убивают почем зря чужих и своих подданных. Не понимаю.

Джон.

16 декабря 1745 года. Кессельсдорф.

Дорогой Стэнли!

Саксонская война, кажется, подошла к концу, и, кажется, она вчистую проиграна. Честно говоря, я даже рад тому, что наш король не принимает в ней никакого участия, отвлеченный шотландским восстанием. Одна напасть уберегла нас от другой, куда более значительной.

Здесь лютый мороз, до такой степени, что все вокруг покрыто замерзшими кровавыми лужами, а главное — совершенно нечего есть. Весь мой провиант последние несколько дней составляют кусок сухаря и гнилая солонина. Кругом горы окоченевших трупов, их никто не убирает.

Как только будет заключен мир, я планирую вернуться в Лондон и возобновить практику.

Твой Джон.

7 мая 1747 года. Потсдам.

Милый Стэнли!

Я успешно достиг резиденции Фрица. Размах его построений поражает. По сравнению с Фридриховыми замыслами Версаль — все равно что детская рогатка относительно гаубицы. Я осмотрел его глаза и нашел их превосходными. Фриц обласкал меня и пригласил на музыкальный вечер, на коих он сам играет на флейте различные музыкальные сочинения. Так было и на этот раз. Все заняли свои места, король начал было настраивать флейту, как вдруг вошел офицер и подал письмо. Фридрих прочитал письмо и чрезвычайно взволновался, до такой степени даже, что я подумал было, что наш добрый король Георг снова объявил ему войну. Однако страхи мои оказались напрасными.

«Господа, старый Бах приехал!» — воскликнул Фридрих.

Все зашумело. Послали нарочного к Баху, который остановился у своего сына, служившего в дворцовой капелле. Вскоре он явился, даже не переменяв дорожного платья. Король попросил его опробовать инструменты работы фрейбергского мастера Зильбермана, которые нравились ему до такой степени, что он скупил их все, расставив в разных комнатах своего дворца. Король и Бах переходили из одной комнаты в другую, и всякий раз Бах садился к инструменту и импровизировал. Затем Бах попросил Фридриха дать ему тему, чтобы тотчас же, без всякой подготовки, сыграть на нее фугу. Король пришел в восхищение.

Музыка Баха кажется мне странной, но привлекательной. Ее особенность, возможно, в какой-то нотной игре, которая делает серьезное — несерьезным, и наоборот. Впрочем, я больше привык к Генделю.

У Баха катаракта.

Твой Джон.

18 июля 1750 года. Лейпциг.

Мой друг Стэнли!

Одно из главных достижений нашего века, наряду с оптикой и артиллерией, вне всякого сомнения, искусство рекла-

мы. Печатный станок и слух — вот истинные короли Европы. Именно реклама свергает богов и возносит на вершину тех, чье имя было неизвестным. Возможно, ты обвинишь меня в кинизме или макъявеллизме, как это любит делать Фриц, но, повторяю, люди по природе своей глупцы, ищущие чуда и знамения. Достаточно развесить по городу листы с надписью о том, что в город приехал известный доктор, как они начинают в полной серьезности верить в искупление первородного греха.

Я в Лейпциге, и я свидетель и, кажется даже, инициатор одного чуда.

Началось все с того, что на третий день после моего прибытия в город ко мне явилась женщина, которая назвалась женой Баха Анной Магдаленой. Немедленно упав мне в ноги, она принялась причитать и выть, как ирландская старуха. Выслушивать подобные стенания просто невозможно. Она жаловалась мне на бедность, ничтожность быта, на то, что ей приходится записывать ноты за мужем, и, наконец, на многодетность. Оказывается, они на пару с мужем наплодили двадцать детей, нисколько не задумавшись о том, как они будут воспитывать их и выводить в люди. В общем, она упростила меня разрезать ее мужу катаракту.

После двух операций я заставил прозреть нашего кантора. Бах снова видит, несмотря на все те идиотские лекарства и примочки, которыми его потчует жена, вопреки моим рекомендациям, как то: лечение каплями на меде, лечение мочой, соком одуванчиков, марьиным корнем, мухоморами, серебряной водой, настоем календулы, чабрецом, соком из фенхеля и прочими народными средствами.

Если так будет продолжаться, я уверю в свою избранность.

Твой Джон.

1 августа 1750 года. Дрезден.

Стэнли!

Бах умер от апоплексии. Его жена явилась ко мне с воплями и обвинениями в том, что я убил ее мужа. Я безуспешно пытался ей объяснить всю глубину ее простонародных

заблуждений, показывал свои дипломы: базельский, льежский и кёльнский. Всё впустую. Она назвала меня песочным человеком, осыпала проклятьями и пошла за городской стражей. Мне пришлось в спешке уехать.

Джон.

3 мая 1752 года. Лондон.

Здравствуй, Стэнли!

Как же приятно после долгих странствий вернуться в старую добрую Англию! Рассчитываю увидеть тебя в Лондоне в самое ближайшее время. Выбирайся уже из своей глуши, здесь весело.

Всегда твой Джон Тейлор, доктор медицины.

P. S. Сегодня оперировал Генделя. Кажется, катаракта решила сразить всех наших музыкантов.

13 августа 1759 года. Кунерсдорф.

Стэнли!

Извини, что пишу на скорую руку. Я судорожно осмысливаю события сегодняшнего дня и последних семи лет, всё, что произошло: смерть Баха и Генделя (весною еще я видел его в Лондоне дирижирующим «Мессию»; из пустых глазниц его сочилась кровь), изгнание буффонов из Парижа, неожиданный союз Георга и Фридриха, а главное — войну, вторжение в Европу диких гуннов и, по сути, гибель человеческой цивилизации. Мне кажется, этот мир ослеп в своем безумии, и я не смогу исцелить его ни с помощью скальпеля, ни каким-либо иным способом.

Расскажу, впрочем, обо всем по порядку. Вчера на рассвете мы переправились через Одер и открыли огонь по русским. Фриц действовал по обычному своему обряду, бросая все силы на один из флангов и ломая его. Но эти русские... Стэнли! Это не люди! Их мало убить, их надо еще повалить на землю. Мы крушили одну их батарею за другой, а они поднимались и снова шли в штыковую. Добавь к этому несусветную летнюю жару, смрад, пороховой дым, предсмертное ржание лошадей, залпы картечи...

Нас разбили ко всем собачьим чертям. Ядро разворотило брюхо Фридриховой лошади. Я видел, как он плакал. Наши части дрогнули и бросились к переправе. В давке погибло больше людей, чем на поле боя. За нами по пятам с гиканьем неслись калмыки, стрелявшие из луков.

Дорогой Стэнли! Есть только один вопрос, который меня по-настоящему волнует: есть ли у человечества право на существование или же было бы проще, по совету декана Свифта, истребить людей и заменить их расой разумных лошадей? Мы с детства воспитаны в странной вере в то, что все будет хорошо. Мы с детства слышим сказки матушки Гусыни, в которых прекрасные принцессы оживают и встают из гроба и принц находит Золушку. Но что, если все это ложь? Что, если мы живем в *страшной сказке*?

Я думаю об этом сейчас, при догорающем пламени свечи, пламени, которое вдохновляет поэтов на великие поэмы, а музыкантов — на великую музыку. Но если подумать, Стэнли, что такое свеча? Кусок сала, не более...

Засим я оставляю тебя, мой друг. Прости, если заставил тебя задуматься о серьезных вещах. Не слушай меня. Слушай «Госпожу-служанку». Получай удовольствие.

Навеки твой Джон Тейлор, Песочный человек.

Капитуляция

В первых числах сентября, когда погода начала портиться, главный редактор журнала «Экономический вестник» Сергей Львович Трауберг получил письмо от читателя.

«Уважаемый главный редактор журнала “Экономический вестник”! — писал читатель. — В августовском номере вашего журнала было напечатано, что Вторую мировую войну выиграла Америка. Вы решили переписать историю? Вторую мировую войну выиграла Россия. Примите меры и проч. Искренне ваш Я. К.».

— Чушь какая-то, — покраснел Сергей Львович. — Я лично вычитывал верстку и не помню ничего про Вторую мировую войну. Лерочка, принесите мне, пожалуйста, наш августовский номер.

— Сейчас, — ответила секретарша, продолжая переписываться в Фейсбуке со своим любовником.

Она еще немного попереписывалась, сходила попить кофе, съела круассан, потом еще немного попереписывалась, на этот раз с другим любовником, и только спустя полчаса или час вспомнила о просьбе Сергея Львовича.

— Так-так, — сказал он, раскрывая журнал. — Где здесь Америка?

— Может быть, здесь? — робко предположила Лерочка, ткнув пальцем в фотографию какого-то мужика с прислоненной ко лбу рукой; в руке была дымящаяся сигарета.

— «Победа Америки во Второй мировой войне стимулировала экономический подъем, — прочитал вслух Сергей Львович. — Экономика США в 1950 году произвела половину мирового ВВП. Индекс промышленного производства США вырос почти на 30 пунктов». Ну да, все верно. В чем проблема-то?

— Я не знаю, — пожал плечами Лерочка. — Просто дурак какой-то написал. Тролль. Мы будем что-нибудь отвечать?

— Делать мне больше нечего! — раздраженно воскликнул главный редактор.

Однако через несколько часов затрещал телефон. Звонили сверху.

— Здравствуй, Сережа. Мне тут письмо пришло. Говорят, будто бы у нас в журнале написано, что Америка выиграла Вторую мировую войну. Это действительно так? Ты не мог бы уточнить?

— Да там вообще не про это. Там про экономический бум.

— Давай я не буду сейчас в контекст вникать, хорошо? Ты мне скажи просто, кто выиграл Вторую мировую войну, Америка или Россия?

— Коалиция, Игорь Петрович.

— Какая еще коалиция?

— Ну, союзники.

— А это как-нибудь документально зафиксировано? Уточни-ка ты у наших юристов.

Через несколько часов из юридического отдела пришло письмо следующего содержания: «Акт о капитуляции Германии подписан 8 мая 1945 года маршалом Георгием Жуковым (СССР), главнокомандующим союзными экспедиционными силами Теддером (Великобритания), генералом Спаатсом (США) и генералом де Тассиньи (Франция), с немецкой стороны — Кейтелем, Штумпфом и фон Фридебургом. Акт о капитуляции Японии подписан 2 сентября 1945 года, с советской стороны — генерал-лейтенантом Деревянко, со стороны союзников — генералом Макартуром, адмиралом Фрэзером и генералом Леклерком, с японской стороны — Сигэмицу Мамору и Умэдзу Ёсидзиро».

— Ну слава Богу! — выдохнул Сергей Львович. — А то я уже начал сомневаться.

Вскоре зазвонил телефон.

— Сергей, привет. Я тут получил письмо от юристов. Ну, ты знаешь, я как-то не уверен. Все-таки это мы водрузили флаг над рейхстагом. Давай напишем опровержение, что Вторую мировую войну выиграла Россия.

— Нет, — ответил Сергей Львович, — ничего такого я писать не буду. У нас научный журнал, а не общественный. Победа Америки во Второй мировой войне стимулировала экономический подъем, что вполне логично. Больше военных заказов — больше кредитов, больше кредитов — больше экономика. Это азбука. Искусство надувания мыльного пузыря. Любой первокурсник это знает.

— Это твое окончательное мнение?

— Это не мнение, Игорь Петрович. Это факт.

— Хорошо.

Сергей Львович положил трубку и о чем-то задумался.

— Не понимаю, — сказала Лерочка. — Что вы спорите, Сергей Львович? Вам же хуже будет. Сначала вы про нанотехнологии написали, потом про авиапром, теперь вот про войну. Выпрут вас.

— Почему это меня выпрут? — инстинктивно огрызнулся тот. — За что? Я доктор экономических наук и дело свое знаю. В отличие от некоторых.

— Ой, да ладно вам! — засмеялась Лерочка. — Опять на принцип идете? Не нужны они никому, принципы ваши.

— А что нужно? Стрижка за десять тысяч?

— Да хотя бы и стрижка! Говорю, сходите к моей стилистке. Вон какие лохмы седые... Давайте я вам визитку дам?

— Не пойду.

— Почему это?

— Не хочу.

— Ну, как хотите.

Поспорив еще немного с Лерочкой и окончательно убедившись в своей правоте, Сергей Львович пошел на обед. Не успел он опустить ложку в тарелку с финской ухой, как зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Сергей Львович, — раздался в трубке незнакомый женский голос. — Я Маша. Игорь Петрович просил меня дать вам консультацию.

— Консультацию насчет чего?

— Насчет Второй мировой войны.

— Вы специалист по Второй мировой войне?

— Нет, я специалист по общественным отношениям. Видите ли, в чем дело... Я не знаю, в курсе вы или нет, но Игорь Петрович собирается баллотироваться в губернаторы. Поэтому, сами понимаете, мы не можем писать про Вторую мировую войну что попало.

— Да мне нет никакого дела до Второй мировой войны!

— Вам нет, а миллионам избирателей есть. Нужно написать опровержение, Сергей Львович.

— То есть вы предлагаете мне извиниться перед каким-то мелким троллем, знания которого об истории ограничиваются чтением Ульяны Скойбеда?

— Это насущная необходимость. Мы не можем рисковать. Всем хорошо известно, что «Экономический вестник» принадлежит Игорю Петровичу. Если история со Второй мировой

выплывет наружу, она негативным образом отразится на нашей репутации.

— Отлично. Просто блестяще. Вот что, Маша, давайте так: вы будете делать свое дело, а я — свое. Я буду редактировать журнал, а вы — заботиться о репутации, а не заниматься правкой неверно истолкованных фраз. Я не знаю, кто он такой, этот Я. К., и из какой психушки он сбежал, но я абсолютно уверен, что дальше одного идиотского письма дело не пойдет. Нельзя вести переговоры с террористами и дебилами. Потому что в этом случае у них появляется чувство собственной значимости и они начинают писать еще письма, и начинают специально выискивать фразы, к которым можно придраться.

— Сергей Львович, вы понимаете, что это может быть провокация? Если Я. К. не дебил, а разумный человек, который сознательно написал это письмо? В этом случае отсутствие опровержения будет расценено как молчаливое согласие с тезисом, что Америка выиграла Вторую мировую войну. А учитывая вашу фамилию...

— Фамилию? Вы меня в чем обвиняете сейчас?

— Я ни в чем вас не обвиняю. Но вас могут обвинить другие.

— Знаете, Маша, у меня сейчас просто башка взорвется. У меня один дед погиб на войне, а второй вернулся с нее искалеченным и по ночам вскакивал с кровати с криком: «Вася, клади левее!» — и я, по-вашему, считаю, что Америка выиграла Вторую мировую войну?

— Мне все равно, что вы считаете. Нужно написать опровержение.

— Я не буду врать!

— Хорошо.

Телефон замолчал. Сергей Львович машинально еще несколько минут поводил ложкой в тарелке. Есть расхотелось. Он встал из-за стола и пошел на улицу курить. Дождь, с утра накрапывавший, превратился в ливень. Сергей Львович встал под козырьком, достал из кармана пачку сигарет с надписью «Эмфизема» и долго-долго мял фильтр, не решаясь закурить.

Выкурив две или три сигареты, он вернулся в редакцию. Вскоре зазвонил телефон.

— Здравствуйте, Сергей Львович, — сказал незнакомый женский голос. — Это Катя из отдела кадров... У вас заканчивается контракт, и я решила спросить, намерены ли вы его продлевать. В любом случае вам необходимо до десятого сентября представить учредителю отчет о результатах вашей работы.

— Мне нужно подумать, — ответил Сергей Львович.

— Хорошо, я позвоню завтра.

Он еще несколько часов думал о Второй мировой войне, расхаживая по своему кабинету широкими шагами, хватая с полки книги по экономической теории и подбегая к компьютеру.

Ему представлялось почему-то, как на японский город падает атомная бомба и как превращаются в уголь тела тех, кто находится в эпицентре, а пролетающие в воздухе птицы попросту исчезают. Он и сам себе представлялся сейчас эдаким распадающимся ядром урана...

Около семи часов вечера Сергей Львович вышел из кабинета и попросил Лерочку подготовить опровержение.

— Таки выяснилось, кто выиграл Вторую мировую войну? — спросила Лерочка.

Сергей Львович грустно посмотрел на нее.

— Лера, дайте мне вашу визитку, — сказал он.

— О-о-о! — восторженно простонала секретарша. — Вот это прогресс! Давайте мы сделаем вам прическу, как у Патрика Суэйзи!

— Наголо, — фыркнул Сергей Львович. — Под Жукова.

Александр Дорохов

.....

Володя

У Володи был складчатый живот и непослушные пальцы, чуть розоватые с обратной стороны ладоней, с небольшими ногтями, по кромке выделанными темной грязью. Каждый день играли вместе с папой на пианино, было больно, папа давливал на пальцы, но каждый раз музыка рассыпалась, кричала, жалила ненужными акцентами, переходы становились громоздкими, шестнадцатые выглядели мебелью, бросаемой из охваченной пламенем комнаты.

Час занятий подходил к концу. И папа, недовольный, молча проходил на кухню, где закуривал и громко гремел посудой, казалось перекадывая с места на место одну и ту же кастрюлю.

Мамы не было, умерла, когда Володе было пятнадцать. В то время его отправили в деревню, он носился и был счастлив оставить музыку ради неповоротливых гусей с недоверчивым, как пуговка, взглядом. Рассматривал рыбу, брошенную дедушкой в залитую солнцем банку с водой; маленькие рыбехи выглядели плоско, как щепочки, только гибкие и юркие от лучей. Были дискотеки, но не для Володи, он слышал лишь скрип калиток соседних участков да смех, разгоравшийся в разных сторонах деревни, сам же сидел, не шелохнувшись, на крыльце, укутанный в одеяло от комаров.

По возвращении занятия продолжились, но уже без мамы, никто не выходил с полотенцем наперевес: «Занимаетесь?» — «Занимаемся, сейчас будем». Лишь папа, еще более злой, тебил заклеенные ноты цвета жеваной резинки.

Одевался Володя радостно, так он сам думал. Яркие футболочки, яркие шорты и брюки с папиными стрелками от ляжки до большого пальца. Иногда папа подзывал, когда гладил

и себе и сыну, с увлечением показывал, вымерял расстояние, присматривался на свет, как кузнец. Покупала вещи бабушка, встречались негромко в парке, шуршала пакетами, где снедь, новый рюкзак и тапочки, такие мягкие, словно наступаешь на ковер. Бабушка не общалась с папой, но любила внука Володю, всякий раз вздыхала, когда видела сутулую подростковую фигуру.

Володя рос. Музыкалка не кончалась, лишь преподаватели старели, покрывались чешуйками и часто болели.

Когда отменялись занятия, Володя бегал на второй этаж, где на подоконнике кем-то начерчено неприличное, разрез, как глаз, только тот, что у женщины, с кучерявыми волосами-ресницами. Долго стоял, разглядывая, пока фонари не начинали жечь яркими одуванчиками за окном, тогда вот-вот появлялся папа и отводил к гречке с розовыми сосисками.

Папа учил всему: драться, бегать, играть в мяч, играть на пианино, учил русскому, географии с разноцветными странами, где Россия обязательно розовая, как брюшко свиньи, великая и могучая. Ставил кассеты с трескучими голосами и звонкими гитарами, обещал свозить на рыбалку, покататься на лодке брата. Володя бегал по комнате и чесал пузико, словно играл на гитаре, перебирал задумчиво струны, отчего и взаправду становилось чесотно.

Через два года после мамы случилась новая женщина с лицом цвета молочных пенек и красными глазами, как у крысы-альбиноса. Папа все меньше уделял времени занятиям, все больше с Татьяной. По субботам и воскресеньям ходили в церковь, Володя тем временем залезал на подоконник, где считал, сколько проедет красных машин, сколько белых, если красных больше, то и день счастливый будет, если белых, то и красных насчитает, сколько нужно, лишь бы было больше. А значит, дни всегда шумели, гудели, пестрели красками ков-ра, пыльными узорами, виньетками и вензелями, только и успевай протирай все колени, оставляя красные ссадины с густыми, через минуту запекшимися капельками крови.

С бабушкой виделся мало: жила далеко, да и ноги не те, как сама говорила; все лежала, только звонила, хриплым го-

лосом спрашивала о здоровье и увлечениях Володи. Володя хвастался стихами, что учил наизусть, да и сам записывал свои аккуратно в специальную тетрадочку, ставя дату написания вплоть до секунды. Одно из любимых было записано днем, когда был один; устав от счета и машин, улегся на пол, представляя, как в деревне, в устланном мхом лесу щебечет, шуршит, живет. Запахи бурили засупонивший от счастья носик.

В лесу там тихо и светло,
Как будто все заледенело,
Кружатся ястребы весь год,
Но каждый раз не сядут на полено.

Почему на полено, он не знал, видел, что красиво и складно, словно река, словно режешь ветчину, нежно отделяя тонкие кусочки от куска. Именно такими и должны быть стихи, что гладко стелются, как туман сквозь прожилки изумрудной высокой травы.

Как ни старался, Володе не нравилась Татьяна, ему нравились девочки в платьях и с голыми ножками, свои ножки пахли и липли, оставляя разводы на крапчатом линолеуме. А у Татьяны ножек не было вовсе, ходила в длинных юбках, упирающихся в пол, иногда со складками, словно забор на Володиных рисунках. В музыкалке все было другим: и банты, и колени, и красиво вздыбленные пяточки на туфлях, и то, как чесались, смешно заводя руку за спину, но при этом не теряя осанки, свойственной только отличницам и маминым любимицам. Нравились колготки, и всегда они были Ксюшами, все до единой. Ксюша со скрипкой, Ксюша с нотами, пусть «народница», пусть на глупой домре, но всегда красивая, как мелодии для скрипки.

Папа уменьшался, лысел и, как Татьяна, бледнел лицом, стал сухощав, и глаза заблестели нездоровым, черные ядрицы пилили и подчеркивали каждое неаккуратное движение Володи: то уронит чайник, то опрокинет стул, то обидит Татьяну черствостью и неблагодарностью, то пахнет от него козлом.

Бросил курить, бросил пить, даже перед праздниками не задерживался, а всегда приходил ровно, вбегая в комнату и раздеваясь на ходу. Пальцы всегда путались в лаковом галстуке.

Каждый вечер собирались за общей молитвой, плоские люди с грустными и пристальными взглядами упирались с высоты комнаты на Володю — как бы чего не натворил, правильно ли произносит, думает, не рыскает ли по темным полкам в поисках интересного. Отец с Татьяной объясняли, за что могут наказать и как важно сохранять доброе сердце и чистые мысли: ручки держать на виду, даже когда спишь, потому что рогатый только и ждет, как напасть, вдохнуть в грудь, набросить на извилины черное покрывало, спутать Володю не с теми и не тем. Страшно было засыпать, чуть прикрывал глаза, лежал и ощущал, как по рукам шелестит ветер, как залетевшая гадливая крылость бьется о потолок в поисках нежных Володиных ручек. И все это они, и все лезут, ждут, когда Володенька закроет глазки и даст себя на пробу.

Володя пугался, сгибался, округлялся до пределов ванны, пока лилась вода с головы на округлые колени. Татьяна держала душ в одной руке, второй измыливая по прыщеватой спине малиновый плоский кусочек.

«Очистим тебя от всего. От мыслей твоих idiotских, от запаха, от грязи. Ну что, идиотина, вылезай?»

Володя вставал, расставив широко ноги и руки, которые тут же покрывались мурашками. Татьяна, приложив ко всему серое вафельное полотенце, оттирала его и выпускала наружу. Он вбегал в комнату, плюхался на собранный и приличный дневной диван, тут же заворачивался в теплое покрывало и скулил, ждал малиновый чай и булочки.

Когда Володе исполнилось двадцать, папа уговорил директора музыкальной школы взять его на работу гардеробщиком. Работа была легкая: сопоставляя циферки на жетоне и на крючке да сиди читай в три изгиба сложенную газету.

Умерла бабушка, оставив Володе пыльные книги и комнату с маленькой кухней без подоконников, на которые любил забираться. Новая квартира была тихой, лишь чайки, прикормленные бабушкой, наглово требовали еду. В первый

же день Татьяна окрестила все комнаты, подрисовала коричневые крестики на косяки, походила, поплевала, где-то стояла в углу, приговаривая, да исчезла. Папа заезжал редко, в основном пил чай да привозил новую иконку, обернутую в полиэтилен. Уже в коридоре, глядя на уголок черного пианино, спрашивал: «Играешь?» Но утащила Татьяна, забила окна в квартире, замазала темным сургучом двери бедному папе, теперь Володя жил один. Один молись и играйся.

До работы добираться час, несколько маршруток, метро, ждал шести, чтобы выскочить из музыкальной какофонии: из каждого класса доносился знакомый вальс или менуэт. Бежал по паркету, расчерченному светлой тертой тропинкой, мимо хмурых мужчин в париках, почти как с икон, но мрачнее и изысканнее, что ли. Напевая очередную услышанную мелодию, кружился, мычал, звонко брякал пятками, воздевая руки над головой. Подоконник был пуст, и не было папы, как и сосисок с гречкой. Была дорога домой, фальшивые мелодии, те же, что играл когда-то Володя, бряцая всей пятерней, налетая, давя, круша созвучия, гармонию, забывая о черных, о педалировании, все было крещендо, все было невпопад.

Погода закупорила ветренные подходы к городу, дышать было нечем, в маршрутке непривычно черные занавески трепетались по окнам. Володе стало тоскливо, словно ехали на кладбище, слезы одна за другой прыгивали с ресниц, как улитки, прокладывали глянцевые дорожки по щекам. Открыл блокнот, записал номер маршрутки и телефон, хотел позвонить и пожаловаться. Вспомнил, как везли бабушку, как она, громоздкая, словно прибавила после смерти килограмм двадцать, подпрыгивала на ухабах, отчего по всему автобусу расходились вздохи. Сосед примостил трясучий японский кроссворд на колени, Володя примостил живот, обтянутый серой футболкой, лишь маленькая выемка для пальца — пупок. Дама спала, цепко ухватив поручень, проваливалась — пугалась — напрягала глаза, вперивалась в Володю не взглядом даже, а телом, крупным, таким же трясучим, как японский кроссворд. И говорила, конечно про себя, что если бы мужчи-

ны уступали место дамам, то и в мире бы не было войн, чумы и прочей мерзости. Сама же была не замужем, поэтому вслух она ничего не говорила.

Выскочил на своей, где магазин «Нептун», букмекерская контора. Колясочные мамы по двое-трое не пропускали вперед, ни обогнать, ни пройти, плелся за ними, читая надписи под ногами. Асфальт пестрел объявлениями, отороченными разноцветными рамками: «Отдых для мужчин. Ксюша». Шел и сладко мечтал об отдыхе, как Ксюша с лакированными и тяжелыми волосами будет крутиться, ютиться на его маленькой кухне, сядет под навесную полку, где посуда, а потом за ручку пройдут в спальню, где пианино, и сыграют полонез. Обязательно сама Ксюша возьмёт его за руку, обязательно улыбнется из-за плеча, обязательно покажет ему свою тайну, что видел только на картинках и на подоконнике второго этажа. Когда задумывался о Ксюше, мычал от удовольствия, глубоко втягивая ноздрями воздух. И Ксюша у него была со скрипкой и в белых гольфиках, походка — словно играла ножками «Шутку» Баха.

Володя чесал одутловатые ляжки, чесал голову, обнаруживая на руках жирный налет, как когда-то, когда ел курицу. Сразу разыгрался аппетит, холодильник на кухне тарабанил и возмущался скудностью содержимого.

В Гортрансе трубку не брали, жаловаться было некому, гудки слабели, забивали ухо маленьким ксилофоном, нотой «ля», так, что и в комнате кроме гудков ничего не осталось. Сидел, подсунув ножки под себя. Заплакал. Вспомнил черные занавески, в которые принялись кутать бабушку, мягкую, но далекую, словно желе под стеклом кондитерского магазина. Вспомнил, как умерла мама, истощилась за время болезни, незаметная лежала под грудой одеял — складка, а не мама. Загудел. Ту-ду-ду-ду, вслух, передразнивая аппарат. Умирают все. И мама с полотенцем, и бабушка с импортом и разлившимся по сумке щами. И гудки умирали, отстраня невидимой рукой Володю от жалоб, заставляя хлюпать носом, пачкать рукава, разглядывать огни, вырисовывающиеся на том конце парка, словно они — новая жизнь, не подойти к ним, не

приблизиться, лишь встать да полизать холодное стекло, да и живи с чем есть.

Вспомнил о Ксюше. Надо позвонить Ксюше, она поймет. Прижаться к ней, забраться в мягкие груди с головой, что не стыдно торчат высоко, под самым подбородком, а даже игриво. На дворе ночь, на асфальте телефон, тепло, куртка повисла где-то в локтях — так спешил. Заправил брючину в носок, не видел, только чувствовал — так спешил. Папа был бы не рад. Папа любил все прямое, не делаешь плохо — будет добро; жизнь проживешь, как в утробе, безгрешно, питаюсь и скрючившись, — будешь порхать, брякая по пузику звонкие мелодии. Вот и Ксюшин номер: 23-22-10. Отбежал, снова забыл, как запомнить? Ни блокнота, ни ручки. Попытался загибать пальцы, но от волнения делал что-то не то и быстро устал. Ну как тут запомнишь? Договорился сам с собою, что придет завтра, обязательно с блокнотом. И начнется все другое. Вспомнит и папа, и Таня, и мертвые позавидуют живым, как они с Ксюшей — два мягких и уютных комка — сидят на кухне, пьют чай, отгоняя воздухом сладкое марево, выпорхнувшее, как бабочка, из чашки.

Одиноко было Володе.

В музыкалке курток становилось меньше, близило лето, и многие сменили тяжелые пальто на тонкие ветровки, способные уместиться на спинке стула. Володя скучал, засыпал, стекал по руке на стол, просыпаясь, таранился на людей и, чтоб снова не заснуть, отщипывал пирожок, по вкусу определяя, как скоро отыщет начинку. Пирожки приносила ему Вера Николаевна, дебелая музыкантша, с бусами до пупа, с тяжелым дыханием и с бессилием за один раз подняться по лестнице. Так и стояла, прижавшись к стене, охая и размышляя о своем. Володя дружил с ней, она дружила с ним, про себя думая, что хоть и милый, да все равно идиот. Пирожки в тот день были с капустой и яйцом.

Работа закончилась, и быстро, несоразмерно своему телу, Володя мчался на остановку. Опять спешил, что, осмелев, не дождался, когда разгорится бегущим человечком зеленый, перебежал дорогу. Спешил к Ксюше, конечно, пригласит. Он —

музыкант, она — когда-то, а может, что-то скучное, с числами, с объявлениями, клеит-клеит, рисует на асфальте, ищет того самого с музыкальным образованием, тонкого и чуткого, без вредных привычек для создания дома, семьи, детей, внуков, с покупкой ковров, скороварка — маме, папе — новая зажигалка, а может, и сразу портсигар... На секунду было больно, дверь закрылась, неприятно укусив за руку, но снова вернулся к мыслям, и все было удачным, и день был набит красными машинами.

Отгладил брюки, как учил папа, каждая брючина навтыжку с позвоночником-стрелочкой. Ботинки с короткими шнурками, но умудрился завязать, немного жали — забыл вытащить кусок газеты. Но радостно было, и весь день был знак. Раскрутил комочек, пробежался глазами, вычитал только про ветеранов в детском доме творчества.

«Скоро придете? Конечно, ждем».

Продиктовали адрес, записал туда же, где Гортранс, а теперь еще и Ксюшин адрес. Зайдет за ней, обязательно пройдет по улицам, что изменят очертания и станут близкими, с желтым вечерним асфальтом, с отражением кухонь с занавесочками и растениями на окнах, ведь всегда был один, а вместе и душа на месте. Но перед этим купить цветы! Те, что торчат среди множества других, синие и с дорожками блесток, словно вшитая каемка на юбочке с воланами, видел их у дома. И конфеты, чтобы было сладко, опять же всё у дома.

Вот она, новая жизнь. Отдых для всех. И для Володи настал отдых, и не надо умирать, чтобы порхать, всего лишь две улицы, коробка конфет и цветы. И пусть Татьяна с папой будут дома креститься и отрещиваться, пусть мама и бабушка также оставили его, пусть. Будет семья, будет.

Пройти две улицы и налево, вдоль парка. Шероховатый асфальт, машины габаритами резали вдоль тротуара, прочерчивая алым, как ссадинки на коленках у маленького Володи. А теперь он взрослый, идет, туго обхватив букет и почти навтыжку, словно часовой у Вечного огня. Парк чернел, пластался на целый километр вглубь, где внутри, скрытое от непосвященных, заболоченное озеро, в окружности — монетка,

гуляли с бабушкой, следили за юркими уточками, как смело ныряют за крошками.

Дом пестрел мозаикой окон, где-то красные, где-то синие камушки от телевизора, где-то Ксюша, в одном из ярких окошек, как отражение. Она наблюдает, она ждет, завидев темную фигуру с букетом, вскакивает, суетливо поправляя сбившиеся вихры платья. Поправляет на бедрах, стягивает с двух сторон, бежит к зеркалу, все не то... Конечно, нервничает и дышит так учащенно, знаете ли. Зачем-то ставит чайник, задерживаясь, осматривает раковину на наличие невымытой посуды, опять к окну. Идет. Вот он. Уверенно. Цветы? Конечно не заметит, спрячет за спину, зайдет, а тут сюрприз, обрадуется, будто не догадывалась. Володя, втянув живот и расправив квелые плечи, заворачивал за угол дома.

У подъезда стояли двое. Черные силуэты с подвижными конечностями, освещенные одиноким фонарем, спутавшимся в ветках дерева. Тени двигались, не обозначив ни лица, ни цвета одежды, грубые и топорные, вырезанные из листа черного картона. Володя не смотрел, прослезился, сам не понял почему, перед ним только жухлый потемневший букет, теряющий форму, как факельный пламень, то вправо, то влево, извиваясь, вырываясь из стиснутого кулака.

Темная дверь втягивала, уже различима надпись: «Сдесь живут шалавы!», подходил ближе, мимо фигур, так и не успевших обрасти цветом, стараясь не дышать, не смотреть, не жить, залечь, мимикрировать, проскользнуть змеем в неплотную щель.

Кто-то вывалился на него, больно ударив по плечу. «Ловелас, смотри, куда прешь!» Володя юркнул в темно-зеленый подъезд, и зачем их только мажут в такой цвет? «Пацаны, он к Галке, что ли?» Володя побежал по лестнице, пропуская коричневые дерматиновые двери, черное небо злым зрачком рассматривало пролеты, обнажая волнистые решетки перил и банки из-под кофе. Бежал, спотыкаясь, липко хватая холодные стены, до самого верха, к звездам. Выше, выше, выше. Плюхнулся, сел, втиснув голову между коленей, округлился, обхватил себя двумя, и животик уместился, все в коробочке,

в спичечной коробочке. Прислушался к набегающим по лестнице. Уже здесь. Отче, Отче, Отче, где же ты?

В холодильнике дождалась кока-кола, маслице на блюде, пара яиц и лук, вытянувшись, спускался зелеными полозьями ниже. Запах несвежий. На столе чашки, доньшками закинуты друг в друга, как верные друзья, приготовились, сейчас нальют в них тепло с привкусом лотоса и ванили. Кран не завинчен, темным волосом с паузами жирной капли струилась вода. Все чисто, ни крошки на полу, нечего слизнуть.

В комнате пианино лаковым пузом громоздилось у стены, сверху салфетка, округлая, с кружевными прорезами. С зелеными карандашными помарками белели ноты. Этажерка с набором слонов, вытянувшись по росту, некоторые с хрусталиками, некоторые с пуговицами вместо глаз.

На стене фотография — это папа, тот, что с усами и лучиками по краю глаз. Мама недоверчиво и немного пугливо смотрит в объектив. Мальчик смеется, пощекотал пяточку Сергей Александрович, — он с камерой.

Был диван с подушками восточными, словно ложе принцессы, темные узоры, как тонкие проволочки, лишь сверкают медью в темноте, вбирая худое ночное отражение.

У кровати — стол, учебники по физике, перекидной металлический календарь, чернильница с фигурой медведя, трезвая, без капельки чернил. На кровати лежал мужчина, прямо в ботинках, прямо в уличном, хотя на стуле обиженная футболочка и шорты. На лице легким наростом щетинка, скудный подшерсток, на губах темное — маленькие запекшиеся кровяные бусинки. У мужчины был живот и некрасивые пальцы, грязные, без розовых подробностей с обратной стороны ладоней.

Завтра он проснется. И все для него будет другим.

Антон Ратников

.....

Дурачок

Иван — дурачок.

Не, ну серьезно. Хотя Иван — это не имя его. Это прозвище, кличка. Фамилия у него Иванов, и так уж от нее пошло: Иван да Иван. А имя его никто не знает. Ну, знает кто-то, наверное. Я не в курсе. Иван он и есть Иван. Но прозвище ему идет. Потому что он действительно дурак. Натуральный. Дурнее не придумаешь.

Хотя! Есть у нас еще один такой же — бесноватый. Он с Иваном мог поспорить в смысле дурости. Дядя Валера из первой парадной. Он на четвертом этаже жил. Раз в день, где-то около шести, он выглядывал из окна и начинал на чем свет стоит ругать демократию. Он был коммунист. А может, и нет. Я помню, он часто кричал что-то хорошее о Ленине. Больше он ни о ком ничего хорошего не кричал. Мерзкий старик.

Я его с детства помню. Он считался у нас кем-то вроде попугая местного. Или еще какой птицы. По нему можно было часы сверять. Я всё думал: почему он именно этого времени ждет. Но однажды мне объяснили, что в шесть часов начинаются вечерние новости, — и все стало ясно.

А потом он куда-то пропал, наш дядя Валера. Не скажу, что расстроился. Но его не хватало. Он стал такой же частью жизни, как, допустим, дворник, подметающий подъезд. Дворник к тому времени, кстати, тоже пропал. Но, кажется, эти два факта никак не связаны.

Дядя Валера, как я позже узнал, умер. Я еще удивился. Но что тут удивительного? Люди ведь умирают. И коммунисты тоже. Коммунисты даже чаще, наверное. Потому что идейные.

Как дядя Валера пропал, Иван стал во дворе главным дурачком. Тут у него уже конкурентов не осталось.

Мне рассказывали, хотя сам я не знаю, правда это или нет, что раньше, до армии, он был адекватным парнем. Обычным. Такие везде есть. Учился средне, играл в футбол, покуривал за гаражами. Что тут удивительного? А потом его забрали в армию. И в армии, так говорят, его по голове ударили ломом. Серьезно. Я за что купил, за то и продаю. Мне так рассказали. Может, врут, конечно, но я себе это четко представляю.

Рассказал мне это Дима Иванов. По его словам, это была случайность. Ну еще бы! Специально человека по голове ударить ломом — это нужно совсем уж быть ненормальным. А это все-таки армия! Там порядок, дисциплина какая-никакая...

В общем, его ударили ломом, или еще что с ним случилось, и он вернулся из армии больным. Он ходил по двору в кирзовых сапогах, грязных джинсах, тельняшке и — если погода требовала — засаленном ватнике. Небритый, заросший, черноволосый, он напоминал беса, внезапно оказавшегося среди людей.

Делал он всякие странные вещи. Мог забраться на дерево и показывать проходящим язык. Мог начать кого-нибудь передразнивать. Мог прилюдно спустить штаны. Мог начать копать яму. В общем, он был на все руки мастер.

Люди его сторонились, потому что он вел себя вызывающе. Дед, который жил в пятиэтажке напротив, постоянно его пытался приструнить. У деда была морская рубашка, серые штаны и тросточка. Дед Ивану угрожал. Ругался. Называл сатаной и паскудой. И другими неприятными словами тоже. Но Ивану было, конечно, плевать. Несколько раз дед огревал Ивана тростью по спине. Иван шипел и убегал куда-нибудь подалее. С безопасного расстояния он показывал деду кукиш. Дед ругался еще больше.

Были и те, кто Ивана жалел. Но они находились в меньшинстве. В основном жалели его женщины. Наверное, женщинам вообще нравится всех жалеть. Разобьет ребенок коленку на площадке, его тотчас же бросаются жалеть женщины. Они жалостливые. А мужчины злые и упрямые. Им не нравится, когда кто-то ведет себя неподобающе. А может, они завидуют просто.

Одна женщина, Лена, постоянно Ивана подкармливала. Приносила ему еду и питье. Он брал. При ней он старался вести себя культурно. В смысле штаны не спускал и не передразнивал. Мог поскулить немного, как пес. И все. Это удивительно. Лена — молчаливая сорокалетняя женщина, худая, с ребенком-семиклассником, настоящим раздолбаем, — мало с кем общалась. Поэтому другие мужчины над ней подшучивали. Дед из пятиэтажки просто перекинул свое раздражение на нее.

— А ну хорош кормить дармоеда! — ругался он, когда видел Лену.

— Не твое дело!

— Не мое! Но и не твое, — упрямылся дед. Он угрожал ей клюкой, сотрясая воздух.

— А как же милосердие, Глеб Палыч?

— Какое, к черту, милосердие? Мимосердие! Вот что у меня есть!

И дед плевался.

У Ивана были родственники. Более того, имелась и своя комната в трехкомнатной квартире. Но он предпочитал спать на улице и только в холода уходил домой. Родственники Ивана не любили. Иногда они загоняли его в дом палками. Иван родственников боялся и слушался. Рядом с ними он смотрелся как побитая дворняга. Особенно старался его отец. Он часто отвешивал Ивану подзатыльники и пинки. Он был злой, но, по крайней мере, защищал его от Глеба Палыча. С Глебом Палычем они часто ссорились. Глеб Палыч считал, что Ивана нужно сдать в дурку. Его отец говорил, что самого Глеба Палыча куда-нибудь сдаст. Они сильно ругались. Чем-то они похожи, конечно...

Видимо, Ивана стали водить по врачам, потому что он на какое-то время стал пропадать. На неделю. На две. Отсутствие Ивана не то чтобы бросалось в глаза, но ощущалось. Так бывает, когда что-то забываешь и не можешь вспомнить, а оно на языке вертится.

По совету доктора Ивану завели собаку, черную шотландскую овчарку. Морда у пса была острая, глаза ничего не выражали, язык болтался на боку. Собака все изменила. Больше

Иван не залезал на деревья, никого не дразнил и даже не спускал штаны. Он ходил по двору с собакой, держа ее на поводке, и глаза его стали немного иными. В них появился блеск и чайное, сладкое спокойствие. Они смотрелись очень естественно: черноволосый мужчина в ватнике и шотландская овчарка с ее красивой лоснящейся шерстью. Они гуляли по двору сутки напролет. Километража, который они прошли вдвоем, обходя каждый куст, каждую будку, каждый уголок нашего пространства, огороженного четырьмя улицами, хватало, чтобы опоясать земной шар. Я так думаю.

Люди шушукались и ставили Ивана в пример.

«Вот смотрите, — говорили бабушки на скамейках, — жизнь налаживается. Уже и Иван успокоился».

Даже Глеб Палыч перестал грозить ему клюкой и смотрел на него пусть и недобро, но достаточно спокойно из-под своих седых кустистых бровей.

Сколько это продолжалось? Наверное, год. И вдруг собака заболела. Сильно. Черт знает, что там с ней случилось, может, съела что-то не то. А может, возраст или какой-нибудь рак, у собак ведь тоже бывает рак, оказывается. Сначала шерсть стала вылезать, она похудела, стала прихрамывать на передние ноги. Потом и вовсе слегла. Смотреть на это без слез было сложно. Иван, выходя с ней на прогулку, практически нес ее на руках. Весь двор смотрел на эту драму, замерев, не смея дыхнуть или пошевелиться.

Потом она околела, эта собака.

Иван опять стал бузить. Он залезал на деревья, кукарекал, а подчас и вовсе гулял нагишом. Но его стали жалеть еще больше.

«Прямо сердце разрывается», — говорили бабушки у подъезда, когда Иван, сидя на ветке, демонстрировал свой покрытый густой растительностью зад.

Даже Глеб Палыч молчал. Хмурился, но молчал. Однажды он и вовсе удивил мужиков, игравших на площадке в домино. Иван в какой-то момент принялся кукарекать, а Глеб Палыч харкнул на землю и сказал: «Купите уж ему собаку, что ли...» Мужики переглянулись.

Собаку ему действительно купили. Тоже черную овчарку, но только она так на него не подействовала. Он немного походит с ней, а потом отпустит поводок и сядет в лужу, сидит. Да и собака попалась поглупее. Тявкала постоянно и все норовила цапнуть детей. А ведь говорят, шотландские овчарки детей любят.

В общем, собаку куда-то убрали. Иван опять лазил по деревьям. Ему взяли другую собаку, третью... Потом он снова стал пропадать — наверное, лежал по больницам.

У нас же все продолжалось по-старому. Только та женщина, Лена, худела и худела, как будто и вовсе хотела исчезнуть с лица земли. Она стала работать дворником. Глеб Палыч умер. С Украины приехали родственники и продали его квартиру. Странно, туда въехал какой-то необыкновенно веселый новый русский, предпочитавший зеленые пиджаки. Но он об Иване уже ничего не знал.

Контратака

Когда Федя гулял с Зоей по осеннему, остывающему городу, он не обращал внимания ни на пронизывающий ветер, ни на косой дождь, бьющий как из пулемета, ни на глубокие лужи. Его не покидали любовь и простуда. Промокшие ботинки он сушил, набив в них рекламных газет на ночь. И чихал так громко, что испуганно дрожал мамин чешский сервис.

Он и в детстве много болел. Мать заволновалась, определила его в секцию бокса, предполагая, что физические нагрузки сделают его невосприимчивым к вирусам и бактериям. В первом же спарринге покрытый веснушками с головы до пят мальчик, виртуозно владеющий хуком с правой, отправил его в глубокий нокаут. У Феде был сломан нос, повреждено из-за падения запястье и напрочь отбито желание иметь дело с любым спортом. Как ни уговаривали его потом родители заняться фехтованием, бобслеем или лаптой, мальчик заливался слезами и отказывался наотрез. Даже безопасные вроде

бы шахматы пугали его духом соревновательности и металлическим изгибом доски. В итоге Федя с пятого класса ходил в секцию автомобилестроения. Делать модельки машинок ему не очень нравилось, но он покорно пошел на эту жертву, справедливо рассудив, что родители от него теперь-то уж отстают. Из множества зол он выбрал, как ему казалось, меньшее и, окончив одиннадцатый класс, столкнулся с тем, что ничего особого не умеет и все науки знает средне, поэтому решил поступать на журналистику. На четвертом курсе этого факультета он и встретил Зою.

Зоя ворвалась в его жизнь как конная атака Буденного. В пику спокойному, нерешительному, близорукому Феде, она была активна, целеустремленна и необычайно зорка. Они познакомились в студенческой столовой. Федя долго не мог выбрать между рисом и макаронами, а стоявшая следом Зоя, переминавшаяся с ноги на ногу, гаркнула на него: «Да бери уже макароны!» Ошарашенный Федя не посмел ослушаться. С того дня Зоя взяла над ним шефство. Она поучала его, давала советы, водила (едва ли не за руку) на прогулки и почти что завязывала шнурки. Затем их отношения переросли в нечто большее. Однажды она стояла в коридоре и видела, как робко Федя причесывается, как подрагивают его руки и как боязливо ложатся волосы. Этот образ, близкий, родной, словно пришедший из детства, покорила ее девичье сердце. Ей захотелось взять Федю на руки, убаюкать, прижать к груди... Она подошла к Феде, обняла его сухую, ломкую фигуру и поцеловала в щеку энергичными губами. Федя удивился, поправил очки. «Что с тобой?» — «Это любовь, Федя».

Так они стали встречаться, а через полгода неожиданно съехались. Зоя своей энергией покорила Федину маму, которая смирилась с потерей сына и неожиданно легко передала его в руки этой расцветающей женщине, как эстафетную палочку. Федя не сопротивлялся. Он тоже чувствовал порхание бабочек в своей груди и смотрел на Зою полными влажной нежности глазами.

Правда, вскоре его начали одолевать сомнения. Федя отлично понимал, что энергичности и бушующей радости Зои

ему нечего противопоставить. Видя ее пышущих здоровьем друзей (Зоя общалась с ребятами с юрфака), он испытывал скорбь и смутную тревогу. Именно поэтому в какой-то момент он стал приписывать себе несуществующие подвиги и сомнительные достижения. Зоя спрашивала его о количестве женщин в его жизни, Федя говорил: «Никак не меньше десяти» (Зоя была второй, а первый случай — смешно вспоминать: загородный лагерь, пухлая жоатая, дурмящий запах полевых цветов). Зоя спрашивала, работал ли он где-нибудь. Федя рассказывал о тяжелых ночных сменах в морском порту, где он-де трудился грузчиком (там работал его дядя). Зоя спрашивала о том, какой он любит спорт, и Федя пускался в воспоминания о бесчисленном количестве боев на ринге.

— А с парашютом ты прыгал? — спросила она.

Федя сглотнул слюну. Он вроде бы и не хотел врать. Само вышло.

— Было дело... Разок.

— И как? Испугался?

— Да нет... Не особо.

— Понравилось?

— Да... Интересно так.

Зоя мечтательно завертелась на месте, как волчок.

— Давай тогда в следующий раз прыгнем вместе! Ведь у меня по парашютному спорту КМС!

Федя представил, что означает это пугающее буквосочетание, и внутри у него сжались все органы, особенно сердце. Зоя впоследствии несколько раз зазывала его на аэродром, но Федя удачно имитировал повреждение колена и избегал такой участи. Похожие трюки ему удавались и в тех случаях, когда они с Зоиными друзьями отправлялись кататься на горных лыжах, играть в керлинг или сплавляться на байдарках по шумной реке, напоминающей растянутое в пространстве и времени джакузи. В общем, они жили с Зоей на одной молодой планете, под одной чудесной крышей и чувствовали волнение только по поводу предстоящей сдачи дипломной работы, да и то не очень сильное.

Четвёртого июля у Феде день рождения. Он проснулся счастливым, как все влюбленные именинники, и улыбнулся. Зоя уже давно встала и делала, как обычно, три или четыре дела одновременно. Она зацеловала Федю и радостно сообщила, что у нее есть сюрприз: они отправятся справлять день рождения в снятый на выходные загородный дом. Федя обрадовался, вспомнив детское чувство всепоглощающего праздника. За ними заехали друзья, и они отправились по шоссе, виляя в потоке машин. Город остался позади, они свернули с главной дороги на проселочную и, поднимая столб пыли, как завесу, запрыгали вперед среди капустных полей.

Федя удивился: «Уже приехали?» — «Почти».

Через пять минут машина вырулила к проржавевшему ангару, у которого чахли маленькие одномоторные самолеты. Федя почувствовал неладное. Зоя обняла его.

— Дорогой, я решила сделать тебе сюрприз. Давай сегодня прыгнем дуэтом!

Ее глаза сияли любовью, но Федя этого не видел. Он ощущал свое сердце, бьющееся у него в горле, ощущал, как покрываются инеем пальцы, как волосы заворачиваются в трубки. Он был готов к обмороку.

— Но я не могу, — с трудом выговорил он.

Она взяла его за руку.

— Пойдем, любимый.

Они вышли из машины. Перед глазами Феде пронеслась жизнь.

— Колено пошаливает, — сказал он, впадая в отчаяние.

Друзья удивились:

— Все же было нормально. Уж не притворяешься ли ты? —

Они засмеялись, и кто-то, подбадривая, ударил его по плечу.

Федя понял, что сбежать не удастся. Он обреченно кивлял следом. Зоя заметила его смятение, подошла к нему, встала рядом.

— Если не хочешь, давай уедем.

Федя снял ставшие бесполезными очки. Ее глаза были бездонны, как океан. Начинался прилив. Он понял, что ради этих глаз он готов прыгнуть с высоты в три-четыре километра и

без парашюта. Для того чтобы понять это, ему потребовалось секунд восемь.

— Нет, — сказал он, — пойдём.

Они обнялись.

Потом Федя с трудом вспоминал, как шел инструктаж, как возились с оборудованием, как шли к тарактящему, словно газнокосилка, самолету. Сжав зубы, уверенно чеканя шаг, как революционер, идущий к эшафоту, он шел навстречу судьбе, и судьба боялась его.

Когда самолет поднялся на искомую высоту и инструктор, отвесив сальную шутку, открыл люк, Федя уже ни в чем не сомневался. Перед ним стоял тот рыжий мальчик с неприятной улыбкой и необычайными веснушками. Собрав все чувства в кулак, Федя сделал шаг — он пошел в контракту.

Семейная сцена

Когда Денис приходил в гости к матери, его зеленые глаза приобретали голубоватый оттенок, а волосы будто светлели. Да и сам он словно превращался в школьника, которому поставили по биологии «неуд». Он, конечно, этого не понимал и скрывал смущение за веселостью и громкостью. Он размахивал руками, много и бесполезно шутил и смеялся в одиночку.

Мама подавала обычно котлеты и суп.

Валентина Степановна немолода и принадлежит к той породе женщин, которые пропорционально возрасту приобретают властность. Она так долго работала директором школы, что перестала думать о себе в единственном числе. Себя она ощущала как нечто большее — некоторое единение организмов. Личных интересов у нее не было, только общественные. К своему единственному сыну, который уже отметил двадцатипятилетие, она относилась как к талантливому, но слишком ленивому и расхлябанному ученику, которого нужно наставлять.

Мужа у нее никогда не было.

В тот раз Денис пришел, как это часто бывало, в выходной день на обед. Он был начинающим художником, работал много, зарабатывал мало, ел редко. Выходные у мамы он ценил и даже был готов мириться с нравами, без которых не обходился ни один прием. К тому же котлеты у мамы действительно вкусные.

Валентина Степановна была рада видеть сына и счастливо хлопотала у плиты. Конечно, у нее есть к нему претензии. Но сначала все шло достаточно мирно. Суп Денису нравился, он черпал его сосредоточенно и аккуратно, боясь пролить бульон на белоснежную скатерть. Валентина Степановна перестала хлопотать, села напротив Дениса и принялась смотреть на него, как бы любясь. Потом ее глаза стали по-кошачьи узкими, и она словно невзначай спросила:

— Ну как там с работой?

Денис не любил эти разговоры. Он хмыкнул, шмыгнул носом, пошуршал салфеткой.

— Нормально.

— Уже нашел что-то?

— Заказов мало... в этот период.

Валентина Степановна передвинула солонку ближе к сыну.

— Я имею в виду... настоящую работу.

Денис прокашлялся. На маму он старался не смотреть. Солонка вернулась обратно, вместе с ней и перечница.

— Я работаю, мама. Я — художник. Между прочим, меня хвалит Синицкий.

Валентина Степановна отодвинула солонку чуть в сторону, а перечницу расположила на одинаковом расстоянии между собой и сыном.

— Этот тот, который голый по площади скачет?

— Нет, это Воробьев... Он тоже меня хвалит.

— Ты тоже будешь скакать по площади?

Сын положил ложку в тарелку и передвинул ближе к маме корбочку с зубочистками.

— Нет, потому что это будет плагиат.

Она всплеснула руками и вернула зубочистки на прежнее место.

— Надо же! Я думала, мой сын скажет: «Нет, потому что это глупо».

Денис снова принялся за еду, но действовал немного опасно, будто боялся, что суп отравлен.

— Давай оставим этот разговор.

— Давай, но я честно не понимаю, почему ты не можешь устроиться в жизни, как все нормальные люди.

Она снова двинула перечницу вперед, и теперь перечница стояла ближе к Денису, рядом с вазой, в которой благоухали три фиолетовые хризантемы.

— Видимо, я ненормальный. Все художники в какой-то степени ненормальны.

Он доел суп и выдвинул тарелку вперед, словно щит.

— Но у тебя даже нет образования! — сказала она, поднимаясь вместе с тарелкой и принимаясь накладывать ему котлеты из кастрюли.

— Я учился в художественной школе, — не без вызова ответил Денис.

Валентина Степановна хмыкнула:

— Три с половиной года, а потом тебя выгнали.

— За то, что я отказался рисовать конформистскую картину, а не за успеваемость! — сказал Денис, с трудом сдерживая дрожь в голосе. Он схватил одну из зубочисток и принялся ее грызть.

Валентина Степановна грохнула тарелку перед сыном.

— Это и есть неуспеваемость!

Денис внимательно изучил содержимое тарелки. Откусил. Поморщился. Потом взял солонку и как следует посолил. Мама смотрела на него пристально, как следователь. Денис поставил солонку рядом с перечницей. Мама улыбнулась.

— У Евгения Семеновича освободилось место.

Денис принялся за котлеты.

— Кто это?

— Директор музея центрального отопления.

— Есть такой музей?

— Представь себе.

— И какое место освободилось? Главного радиатора?

- Заместитель по культурной работе. Как раз для тебя.
- Я художник, мама.
- То есть культурный работник.
- Я не хочу об этом говорить!
- Ты губишь свою карьеру!

Денис перемолол котлету своими зубами так быстро, что даже не заметил ее вкуса. Он с ожесточением воткнул вилку во вторую, поднял ее, как средневековый копейщик, пронзающий врага, и продемонстрировал маме.

- Мама, у меня нет карьеры.
- Мама взяла со стола полотенце и стала мять его в руках.
- И никогда не будет с таким-то подходом! — сказала она.
- Денис не выдержал:
- Она мне и не нужна!
- Ах, не нужна...

Валентина Степановна кинула на стол полотенце, схватила в охапку хризантемы со стола и стала их подрезать. Она клацала ножницами, как опытный хирург.

— Я все для тебя делала, ночей не спала, хлопотала — и вот она, благодарность!

- Денис бросил столовые приборы на стол. Вилка лязгнула.
- Я не пойду работать в музей отопления!
- Видишь ли — какая цаца! А как ты будешь себя содержать?!
- Так же, как сейчас содержишь!
- Ты? Ха-ха! Да ты у меня целыми днями околачиваешься!
- Могу и не околачиваться!
- Да, а деньги где ты будешь брать? Воровать пойдешь?!
- Продам свои картины!

Валентина Степановна швырнула то, что осталось от хризантем, на стол.

- Да их бесплатно никто не возьмет!
- У Дениса задрожал рот.
- А ты... ты... а у тебя котлеты недосолены!
- Валентина Степановна охнула и замерла в полупозиции.
- Что? Что ты сказал?
- Котлеты...
- Ах, так... Так, значит... Так, да?

Ее подбородок задрожал. Денис испугался. Он никогда не видел мать в таком состоянии.

- Боже... мама, не плачь... я... я, кажется...

Валентина Степановна села на стул и закрыла лицо руками. Ножницы беспомощно повисли на указательном пальце.

Денис вжал голову в плечи. Он почувствовал себя черепашкой. А через секунду почему-то муравьем. Хотя при чем здесь муравей?

- Мама, ну прости...

Денис обошел вокруг стола и обнял мать. Она всхлипывала еще какое-то время. Так они провели следующие пять минут. Мать сидела на стуле, закрыв глаза руками, сын стоял рядом и держал ее за плечи. Они не двигались, будто позировали фотографу начала двадцатого века.

- Ладно, — сказала мама, — что-то я... Садись, доедай.
- Я наелся. Котлеты очень вкусные, кстати.

- Да, конечно!

— Честно! Лучшие котлеты в мире! Пять звезд Мишлена тебе гарантировано!

- Кто это? Еще один полубезумный художник?

— Почти... — Он покосился на часы. — Слушай, я, наверное, пойду. Мне пора.

- Она вздохнула:

— Иди. Помнишь, что я говорила тебе о Евгении Семеновиче?

- Нет.

Она посмотрела на него.

— Все ты помнишь. Подумай об этом. Такими вариантами не разбрасываются. Музей теплового оборудования! Это же Эрмитаж индустриализации!

- Скорее кладбище... Впрочем, ладно. Я подумаю.

Он ушел в зиму, нескладный, взрослый, с длинными волосами, не прикрытыми шапкой. Валентина Степановна дала ему денег; Денис отнекивался, но потом все-таки взял. Потом Валентина Степановна прошла на кухню и взяла оставшуюся котлету.

- А ведь верно, — сказала она, — недосолено...

Ольга Мажара

Барма

— Пааааааа.....сь!!!! — Он сделал шаг с дороги раньше, чем следовало, уступая заведомо предупреждающему, прогоняющему окрику. «Телега? Шумит повозкою». Подъехала, поравнялась и проехала, обдав глубоким, грудным, лошадиным, пыльным, мешочным духом и в конце человеческим вздохом. «Повозка, не крестьянская, тяжело положено, трое, видно, и возница». Проехав, рукою провела, властно, гнетущею. Он почувствовал высоту её, бремя, ласку, раскрытые, тянущиеся к нему объятия. И когда, думая — вот прошло, проехало, захотелось вернуться в сухую, пыльную ложбинку наезженной колеи, размахнулась чья-то настоящая, человеческая рука и с повозки бросили ему напоследок, поделились толикой и грузности её и стати, чем-то больно хлестнули по щеке. Он откачнулся назад, и ноги, одна, а за ней и вторая, поползли с обочины в овражек, а по щеке, шее и дальше за пазуху покатились, холодя, медная копеечка.

Под рубахой копеечка нашла путь к земле и потерялась. А он, испуганный, сполз до дна овражка, замер, отдыхая, лежа ничком в траве, вспоминая. Продираясь сквозь сумрак и страх внутри, сквозь вязкую дремоту, воцарившуюся в душе. Сбилась повязка с глаз, он всегда первым делом её поправлял, — и сейчас поправил, ничего не прибавив и не убавив ко мраку внутри и вокруг себя.

Не вставая, проверил рукой, не зацепилась ли за подвязку портков та копеечка — нет, ускользнула. Он вспомнил Василия Нагого, зиму того года. Какого же? «Мел тер» он в тот год у итальянца. Белый, невесомый, хватавший его снаружи и внутри, успевавший повсюду. Через площадь тогда ходил кипенным, не повзрослевшим и вдруг состарившимся, с сивыми

бровями, неделями не стриженной бородой, отросшими волосами. Подойдя к толпе у Троицкой церкви, глядел со всеми на Василия, дрожащего мелкой дрожью на морозе. С длинными серыми патлами, раскиданными по лицу, плечам и по обнаженной, впалой груди. На Василия — без рубахи и портков, босого, в ради смеха кем-то наброшенном на его плечи боярском тулупе. Василия, зябко и часто переступавшего на цыпочках на твердо утоптанном снегу площади, выкидывавшего из подола тулупа милостыню:

— Копейка — первая затей-ка, пятак — копейке не враг, гривенник — казны выводок.

Попадал не глядя, но точно, швыряя монеты назад через правое плечо: пятак к пятаку, копейка к копейке.

К тому месту у Троицкой церкви ходили люди, смотрели, и он, Барма, бывало, постоит, посмотрит, но чаще пройдет мимо, не задержавшись, сберегая силы дойти до постоянного места, на другой конец Москвы, где снимал он угол, где, не ужиная, падал на полати и в смертельном забытьи сна едва успевал прошептать привычные слова молитвы.

Милостыня та оставалась на площади, никем не тронутая, и сам Василий её не стерег, о ней не беспокоился, собирая каждый день новые копейки и аккуратно добавляя к прежним.

— Копит, смотри-ка.

— Собор заповедал ставить.

— Собор не сдюжить.

— По пятаку не собрать.

С того года еще пяток лет прошел, и Барма у итальянца мела уже не тер, а бегал, на строительстве раздавал подряды каменщикам, штукатурам, плотникам, задавал уроки, принимал работу.

Василий умер. Копеечки, говорят, его собрали, завернули в тулуп, Василием затертый до ветошки, и отнесли в Кремль, оставили для царя, уехавшего воевать с Казанью. Оттуда прилетали гонцы, туго затянутые кушаками, приносили царю слово и на Троицкой площади ставили по тому слову по свечке в небольшой церковке, слава победы. «Кому ж собор достанется ладить?» — думал Барма, забывавшийся сном ред-

ко и тревожно всё на том же постоялом дворе, смотривший усталыми, воспаленными глазами в черноту закопченного близкого потолка, придумывая собор, каким бы поставил его он, Барма, прославляя Бога и себя. Молитва вечерняя не шла, но собор придумывался и за несколько времени в подробности до камешка нарисовался, утвердился и на площади встал. В Великий пост Барма взял обет поститься сухо, сколько выдержит без воды, и молиться, проситься строить придуманный собор.

Да что вспоминать! Но и забыть, задуть свечу, остаться ни с чем в темноте своей светелки, в тесноте, без проблеска памяти он боялся. Он спешил из Свяжска в Москву, не имея в столице никакого дела, без надежды найти знакомых, не видя, но уже от Владимира чувствуя её, её запах, колебания её тела, молитвенные колокольные вздохи, торговые крики, сонные хлебные тарелки, душные полаты, Москву строящуюся, расстраивающуюся, перепачканную мелом и известью, еще крепкую молодуху, каждый год рожавшую один другого краше, сильнее молодцов, еще не перетянувшую на груди сарафана и по праздникам высоко убиравшую косы.

Главной дороги Барма боялся, давно свернул с неё и перебывался проселочными, объездными. Часто заходя в деревни, ночуя, а с утра идя через поля, по тропам, то сужавшимся в тропинки, то опять разливавшимся полноводными, широко разъезженными, глубокими колеями. От деревень часто провожали хозяйские дети, выправляли на путь, а после полудня, далеко отведя от места ночлега, останавливались и дальше не шли, глядя ему в спину на надувавшуюся ветром и торчавшую горбом рубаху.

И тогда Барма оставался один, оставался с собой. Обращивался внутрь себя и, слепо шурясь, силился и боялся разглядеть свои подробности, свои новые слепые обстоятельства. Ногами ступая по невидимой дороге, рассматривал себя в себе. Падая в темноту, кровь, ужас, разъединяя себя на части и собирая заново. По дну обмелевших глазных яблок, путаясь в хитросплетениях мозга, проваливаясь в глубину шахты пищевода, глубже и глубже, вниз до самого дна тела, и гулко

стукнувшись об него, дно, всплывал вверх, через собор, им построенный, под купол неба, оставив позади и себя, и площадь с Кремлем, и царя, и Москву, Землю. Глядя и не видя, всматриваясь в скользящие мимо звезды, рассматривая, на чем они держатся, думая сорвать одну на счастье себе. Знают ли они о нем, о Барме, и знает ли Барма о себе? Кто он, и где, и зачем, чего хочет от него Бог и чего он, Барма, хочет от Бога? За что дана ему неизбывная гордость, ослепившая его и бросившая в темноту его собственных холодных подвалов, и зачем дальше жить, чем жить, если ничего, кроме огарка воспоминаний, почти в нем потухшего, не осталось — нет и больше не будет?

Казанский кремль «церковному и городовому мастеру Постнику Яковлеву» велено строить, — вымолил тем постом Барма, хотя и не о том просил. Вымолил Барма, итальянских уроков не забывавший и начавший в тот памятный, начальный год строить прясла в Казани и монастырь в Свяжске. Помня итальянца, его вездесущий мел, сыпавшийся, казалось, и сейчас ему за шиворот, Барма строил по-русски, по своему, по-псковски.

Но прилетел царский гонец птицей и унес на своих крыльях Барму в Москву. Много потом Барма летал на чужих крыльях из Свяжска в Казань и оттуда в столицу и возвращался обратно. И чувствовал Барма себя в те годы важной, но бескрылой птицей, обессиленной гордыми постами и царской честью. И словно предчувствуя, наперед смотрел дорогу, несколько лет запоминал, и запомнил, как будет обратно по ней тащиться с перебитыми крыльями. А пришло время, и не пошел по дороге, свернул в сторону.

Он заканчивал в Казани и Свяжске на ощупь, отвезенный туда в крытой повозке по первой зимней поземке. Достраивал слепой, когда «глаза в руки перешли». Царя простил, что ж делать, и подарков не взял. И оставалась Барме одна дорога — на постриг. Как нарочно, как будто для себя достроил он следующим летом Успенский собор. Успения, успокоения, последнего приюта. Но засобирался, словно по срочному делу, в Москву.

«Говорили люди, зело зол царь, не приметил, — колол холодною рукою». Держали, а царь наклонился к нему. Барма видел всё приближающийся глаз Иисуса, тонко сработанный разрез века, зрачок с живой крапункой посередине на медальоне барм*. Посох царский, которым слепил, увидел после, вторым глазом, уже опьяненным болью, не выбиравшим, на что посмотреть, что увидеть в последний раз. Наконечник сверкнул медно, и свеча, накрытая гасильником, потухла.

Зимой, когда работы в Казани останавливались, Барма уезжал жить в Москву. Снег шел в недостроенном храме, задувало его в щели зимней крыши и в наспех заколоченные окна, а он подставлял снежинкам лицо, и они ледяными слезами, перемешиваясь с его собственными, крупными и горячими, стекали за пазуху. «Не холодно. Любил собор, как дитя, и придумал, чтоб не мерзнуть в нем, зимовать, не отлучаясь».

«Построил, возгордился. Тело те года изнурял постами. Высохло оно и балушкой** при душе будто на смех болталось. Думал, себе во славу построил».

«Сделаю красным, небольшим, пусть на улице служат: собор — алтарь, небо со звездами — купол. Небо Божье, собор мой. Так и поделимся. Восьмиконечную звезду подклетью начерчу — вход в Небесный Иерусалим, Царство «осьмого века» после Второго Пришествия. Вифлеемская звезда для пастухов, в Третий Рим призывающая и вечное девство Богородицы прославляющая. Квадрат на квадрат — четыре ветра Вселенной, четыре конца креста, четыре Евангелия, четыре апостола, проповедь на четыре стороны света». И всё сбылось: и собор встал, и Барма его увидел.

Москва зашумела издалека. Издалека он встал на колени и поклонился ей.

«В сердце моё взглянул и за гордость глаза выколол. От постов возгордился и от красоты сияющей ослеп. Стоял собор на пригорке чисто выбеленный и светился, веришь ли, днем, изнутри. Царь те тропы гордые знал, сам по ним ходил,

* Бармы — широкое плечье или воротник с нашитыми на него изображениями религиозного характера и драгоценными камнями.

** Игрушкой (устар.).

гордость мыкал. А еще ходы тайные, для казны каменные сундуки, потайные лестницы и подклети в соборе захоронить придумал. Знал, зачем глаза колол. У самого лоб битый под шапкой, грехи бессчетно замаливал, земными поклонами заслонял, один прибавился — и не испугался».

К вечеру добрал до площади. Цирюльники у собора затеяли свой двор, это он слышал, рассказывали. И он неуверенно, страшась, ступил на шелковистые, мягкие, ковром растелившиеся по земле состриженные волосы. «Та бы копейка теперь пригодилась, нашел, и постригли бы. Или так попросить? Христа ради?» Мягко, легко кто-то шелестел под ногами, игрался собачонкой. Он сел рядом, и на него посыпались подбрасываемые волосы. Волосы соскальзывали по щекам Бармы слежавшимися, ласковыми прядями. Он не сопротивлялся и лицо от внезапных, пряди задерживающих слез не отирал.

— Фарух! — громко позвали и следом выговорили что-то непонятное.

— Эй, малыган*! Малыган, зветь гуляй! — окрикнул цирюльник, скрипевший инструментом в шаге от Бармы.

— Кацавейка расписная, на голове коробочка шкатулкою... Подь сюды, — произнес другой голос еще ближе к Барме, и другой цирюльник потянулся и схватил возившегося под ногами мальчика. Тот пискнул и затих в его руках.

— Волосят нету... — шлепнули по чему-то гулко. — Постригает на коленочку.

— Купцово племя...

— Выводок привез научать, астраханский, что ль, шелковый.

— Вон идет, гляди, халат знатный.

— Жаркий больно, не надо его.

— Теперь ходил, смотрел на него, как в Казани достроил. Земля вокруг войлочна, мягка земля. Сидят цирюльники, волосы стригут, не метут. Полежал там, послушал людей, и снова гордость взяла. Вот вернусь в Свяжск к осени, помолюсь, — рассказывал кому-то негромко Барма, кому-то при-

* Мальчик (устар.).

думанному, недавно к нему привязавшемуся, а сам полз, не вставая на ноги, устраиваться на ночлег. Он и местечко знал, где лечь можно под стеной храма, на ощупь нашел его, разрыл руками от пыли и волос и тепло улегся.

Утром Барму разбудил солнечный свет.

— Вышло правильно, правильно получилось. Не узреть Бога зрячим, — продолжал рассказывать Барма*, идя по шумящим, скризь** пахнувшим стройкой улицам, руками ощупывая, узнавая прежние, при нем бывшие строения, знакомясь с новыми, не пугаясь, но сторонясь проезжающих и проходящих, поправляя повязку, соскальзывающую с волос, отросших и разбросанных по плечам.

Untitled

Больно глазам, глаза режет. «Глаза не закрываются». Она вынырнула, слишком поспешно и неестественно далеко прогнув шею, и поспешила перевернуться на спину. Струя воды становилась всё напористее. Движения восходящие, поглаживающие, кругообразные, от ступней к пояснице. То приближаясь, то отдаляясь, струя вдруг истошилась. Две кисти горячих рук легли на плечи и перевернули со спины на живот, и повторили: от ног к рукам, снизу вверх, по часовой стрелке, сильнее, слабее, задерживаясь на ягодицах и бедрах. Взвизгнули краны — Анечка осталась лежать в теплой тишине, слушая звуки падающих на поверхность воды редких капель. *Сильный эффект расслабления и неги после сеанса подводного массажа: беззащитность и расслабленность переходят в бодрость и свежесть, энергию, желание деятельности. Для*

* Иван Яковлевич Барма (Постник) — русский зодчий, которому приписывают авторство проекта собора Василия Блаженного в Москве, участие в строительстве прясла Казанского кремля и Успенского собора в Свяжске.

** Везде (укр.).

сеанса понадобятся полотенце, тапочки и купальник, если вы не любите обнажаться. Анечка обошлась без купальника.

Перед массажем в журнале посещений роспись в тесном синем прямоугольнике. И аккуратно придвинутый рукой в манжете медицинского халата по столешнице полированного стола бланк анкеты на желтом советском листке бумаги. «Тираж 100 000 экз.» — печатными буквами машинописного шрифта на обороте. Анечка перечеркнула квадраты напротив строк «синдром хронической усталости», «заболевания опорно-двигательного аппарата», «дисфункция кишечника», «нарушение сна», «бессонница», «целлюлит», «слабость мышц», «дряблая кожа», «восстановление контуров тела» и поставила число: «7 февраля 14».

Шла по коридору лечебного корпуса, оставляя влажные следы резиновых протекторов на потертом линолеуме. Развесистые пальмы, бархатные кресла, что-то восточное и советское одновременно, — Анечку передернуло, и она плотнее запахла халат. Выпавший ночью снег слепил сквозь стеклянные стены перехода, она жмурилась, и вокруг разбежались темные пятна по ярко-белому, казалось, лежащему везде, и здесь, в помещении, тоже, снегу.

Зимой Ялта пустынна, поэтична и особенно пленительна. В советских санаториях черноморского побережья редкие пациенты предаются воспоминаниям, ностальгии по детству, юности, спокойным, не предвещавшим волнений семидесятым.

По белому желтым — у входа в главный корпус притормозило такси. Анечка в скользких тапочках зашлепала быстрее.

— Марисоль! Собирайся гулять! — крикнула она, распахнув дверь номера. — Постой, Марисолька! — И Анечка, наскоро поцеловав счастливую усатую морду мексиканской голой, залезла с ногами на кровать и, подняв телефонную трубку, два раза провернула скрипучий диск.

— Марисоль! — Но та уже впрыгнула в распахнутую дверь такси и привычно расселась на сиденье. — «Дружба», знаете?

— А як же? У Курпатах е.

— Круглый, со стеклянной террасой?

Санаторий «Дружба» многослойной зубчатой шестеренкой жилых этажей выдвигался из высокой береговой террасы. «Турецкая разведка и Пентагон принимали здание за ракетную базу», — шушрала Анечка путеводителем. «Похож на гриб. Точно по Корбузье. И на летающую тарелку». «На излете великой мечты в его нетиповом проекте воплотились три «к» архитектуры: космос, коммунизм, конструктивизм».

— Мама, кто это?

— Санаторий, мы там живем.

— А кто его посадил тут?

— Дядя.

— Хороший, — девочка сняла капюшон, — пусть растет.

Женщина накинула девочке капюшон. Та шла и оборачивалась на Анечку с Марисоль, и капюшон падал. Мать снова его надевала. Анечка, странно приклеившись, брела за ними по пустому галечному пляжу. У пирса свернула на скользкий, обледенелый бетон.

Безнадежного романтика, революционера, аскета променяли на дряхлую фрейлину в фижмах, пышную, с избыточными формами имперского барокко и надменной гримасой сталинского неоклассицизма на лице. Борясь с «прямыми углами», с «буржуазным формализмом», лицемерно строили безвкусные дворцы в стиле Людовика XIV. Анечка отскакивала и отгоняла Марисоль от ледяных волн, бившихся и разбивавшихся о пирс медными брызгами. И в жизни она также сторонилась азиатчины, захлестывающей мигрантами, хвалебными путинскими парадами, олимпиадами, потерявшее выражение лицо «этой страны». Она ценила Ялту за провинциальную тишину. До Сочи 12 часов езды. Она, конечно, не поедет. Волны, сбегая с пирса, оставляли на наледи невидимый след, с каждым новым приступом прибавляя к блестящей, скользкой поверхности.

Лечилась Анечка в санатории «Узбекистан» на восточном склоне Мобаби по адресу: Бахчисарайское шоссе, 1. Дворец эмира с мечетью, чайханой и парком в инее. До центра Ялты 8 километров, до Черного моря — 12. До водопада Учан-Су

триста шагов. Еще дома она решила не шиковать, не Европа все-таки. Апартаментам с мозаичными панно по стенам и навверняка, наскоро замазанными щелями по углам предпочла двухместный номер повышенной комфортности в седьмом корпусе. Спальня и гостиная с ненужным зимой кондиционером, телевизором, холодильником и балконом. Холодная вода постоянно, горячая по графику. Четырехразовое питание, узбекская кухня. На завтрак безвкусные плоские лепешки, чай с густыми сливками, и больше ничего не добиться, кроме улыбок и приглашения на обед. Взглянув без аппетита на лепешку и чайник на подносе, Анечка уходила в парк «дышать соснами».

Мимо библиотеки, бильярдной, спортплощадки, тренажерного зала и экскурсионного бюро — дама самостоятельная, много путешествующая, она готовилась к поездкам тщательно, задолго и в услугах гида не нуждалась.

Анечка свернула на почту. Котик, букетик, конфетка, корбочка, — она перебирала пальчиками с розовыми ноготками открытки на стойке. И ни одной с панорамой Ялты. «Made in China», China, China... Выбрав с воздушным змеем, аккуратно, прикусив губку, написала, запечатала в конверт, послушно наклеила марки. Конференц-зал, медпункт, бар, кафе, магазин, кинозал, танцзал — всё мимо. Парк со старыми секвойями, ягодным тисом, крымскими и итальянским соснами, гималайскими кедрами, кустарниками олеандра, золотого дождя и японской айвы, обесточенные зимой и лишённые красок, — готовый карандашный набросок. Она зарисовывала в молескин заиндевевшими пальцами пейзажи, странно неподвластные Leica, но податливые карандашному грифелю, временами грея руки под мышками у Марисоль, послушно замывавшей у её ног.

Все аллеи вели ко дворцу бухарского эмира Сеид-Абдул-Ахат-хана, седьмого правителя из узбекской династии Мангыт. Керченский камень, мавританский стиль. Яркий синий, красный и зеленый на фоне снежного парка и бело-облачного неба. Грани и полукружья, портики и террасы, лоджии и бельведеры, ажурная резьба колонн, капителей, балюстрад,

подковы окон и зубчатые парапеты. «Дилькисо»*, — ласково называл дворец эмир, пока тот не перешел в вечное пользование трудящихся Узбекистана. Та вечность продлилась семь десятков лет. Когда вечность закончилась, российские военные оставили дворец за собой.

Лечебный фактор морского освежающего воздуха... не стоит недооценивать... Лечение заболеваний верхних дыхательных путей, нервной системы... Анечка дышала полной грудью, глубоко, до головокружения, на европейский манер гуляя с непокрытой головой. И сегодня, оставив в номере песочный беретик, она тянула время в парке, не торопясь на тошнотворные ингаляции и озокерит.

С пирса вернулась на галечный, хрустящий пляж. Марисолька замерзла и тряслась мелкой дрожью в комбинезоне с капюшоном и ботиночках на четырех длинных лапах. С берега санаторий «Дружба» похож на ставший на мель корабль. Анечка вздрогнула — все-таки очень холодно. Тридцатипроцентную скидку на размещение Марисоль ей не дали: ребенок, щенок, но ведь разделять бесчеловечно.

В обед столовские тетечки просыпались и изнуляли узбекским дастарханом: пловом, от которого на нёбе скапливалась жирная, клейкая пленка, пельменями с бульоном, самсой, лагманом. Анечка умоляла — что-нибудь одно. Но они приносили сладкое, и она, не поблагодарив и не подремав после обеда в кресле, убегала бродить по парку. Ей не спалось уже сколько? Пятнадцать или шестнадцать лет, началось еще в институте перед защитой красного диплома.

Полдник она пропустила в городе. Сидя за бокалом вина в лучшем, если верить путеводителю, ресторане Ялты. Катая по краю белой тарелки сырные шарики и скидывая их Марисольке под стол. Согревшись, они снова «дышали соснами» в Приморском парке. Анечка больше не рисовала и не фотографировала. Болело покарябанное на процедурах нёбо, и давило в груди. Она решила вернуться, опасаясь приступа.

Каждый раз в небольшой Ялте её прогулки странно одинаково заканчивались у скульптурной группы «Дама с собач-

* Пленительный, обворожительный (*турк.*).

кой»: дама смотрела амазонкой, Гуров, потрепанный и унылый, не тянул на соблазнителя, лохматый шпиц из чугуна, похожий на свернувшегося ежа, все в глупую натуральную величину, ни больше, ни меньше. Анечка не уставала вспоминать Человека-невидимку из Амстердама. Как очаровательно легко и грациозно, несмотря на тяжелый плащ и футляр со скрипкой, он слегка кланялся и приподнимал шляпу на парковой дорожке. «Вот и всё так в России, даже что есть хорошего, талантливого, в памятник из чугуна зальют и испортят». Или Человек, измеряющий облака. Или Мужчина на пикнике с собачкой — с широченными плечами и, похоже, все тем же шпирцем, но как сделано, как сделано!

— Вы... Вы... не поможете? Вот сюда если нажать, — улыбался мужчина.

— У дамы хотите?

— Да.

— Ну так вставайте.

— Ваша собака?

— Хотя лучше с Гуровым

— А можно и с ней тоже?

— Там и удобнее.

— Как зовут?

— Слушайте, или да, или нет. — Анечка сожалела о послушно взятом в руки фотоаппарате.

— Собаку я имел в виду...

— Марисолька. Марисоль, если точно.

— Нет, лучше с дамой, приятнее.

— Ну так вставайте к даме.

— Вы здесь на квартире живете?

— Готово.

— А я Никита.

«Везде побрито», — раздраженно передразнила Анечка, уходя в сторону стоянки такси.

В Ялту едут люди со средним достатком, детским опытом отдыха в пионерских лагерях, когда-то лечившиеся в советских санаториях, вообще советским опытом, готовностью к украинскому колориту, к заброшенности и ветхости основных

фондов. Ялта расположена на одной географической широте с известными итальянскими курортами Равенной и Генуей, почти на одной. Этим «почти» сказано всё. И приезжающие сознательно идут на это «почти» и прощают его Ялте. Простила и Анечка.

Тёплый береговой бриз приносит с гор едва уловимый запах хвои, и воздух в каменной ялтинской чаше чист, богат морскими солями и лесными ароматами. Море, нагретое за лето, долго остается теплым и щедро согревает воздух на побережье. Колонии венецианских и генуэзских купцов, разрушенные в XV веке землетрясением, через семьдесят лет вновь заселены греками и армянами... — читала Анечка, остановившись у армянского храма. — *Александр III, князь Голлицын, много бездомных животных, бездомных...* «Не видела. Войти или не войти? Пожалуй, не стоит». Анечка огляделась. Марисоль заметно устала. Видимо, они свернули не туда и заблудились.

В первый день в санатории Анечка неосторожно сходила на ужин. Ее накормили жигар-кобобом и отварным тестом с овощами. Ночью она выпила всю воду в номере и, потеряв осторожность, пила даже из-под крана, как в детстве, сидя на подоконнике, полотенцем стирала ржавый налет с языка.

Бессильно дернув покрывало на кровати, она забралась под одеяло. Тут же с другой стороны прилегла мордочка Марисоль и легла ей на грудь.

— Ты моя девочка! Моя девочка! — погладила её Анечка и, стянув джинсы под одеялом, успела перед забытьем подумать, что завтра день перемены постельного белья и что это хорошо, это прекрасно, значит, всё идет правильно.

Почему зимой не бывает грозы? Зимой бывает гроза. Ветер, горячие облака, холодная земля. Анечка вглядывалась в темноту за окном, освещаемую всполохами молний, и поглаживала холку Марисоль, опершись передними лапами на подоконник и тоже смотревшую в окно.

Утром, отказавшись от процедур и перенеся массаж на вечер, Анечка укатила в растревоженную ночной грозой Ялту. *Канатная дорога Ялта — Горка, малая канатная линия —*

одна из трёх действующих линий Большой Ялты. Удобна посадкой в центре города, у здания гостиницы «Таврида», верхняя станция на холме Дарсан. Протяжённость 600 м, перепад высот 120 м, время в пути 12 минут. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров. Режим работы с 10.00 до 18.00.

По дороге она читала то путеводитель, то французский архитектурный журнал, статью об архитектуре нового времени Ле Корбюзье. *Дом приподнимали над землей на железобетонных столбах-опорах — появлялось место для стоянки автомобиля. Плоские крыши-сады. Ле Корбюзье отменил несущие стены. Легкие, хрупкие, прозрачные, они принимали любую форму и конфигурацию. Ленточные окна, свободно протянутые вдоль фасада, — много света!* Марисоль вложила мордочку в журнальный сгиб. Она обижалась за утреннюю чистку ушей и носа и не хотела, чтобы хозяйка быстро забыла об испорченном ей с утра настроении. ... *Типичный памятник советского конструктивизма — санаторий «Дружба», Ялта, 1985...*

Аналоги в Петербурге: ДК им. Газа, ДК работников связи, Дом-коммуна инженеров и писателей («Слеза социализма»), Рубинштейна, 7, Водонапорная башня завода «Красный гвоздильщик»... гвоздильщик... слеза... «Вот подлечусь, восстановлюсь к сентябрю, и тогда держите меня семеро».

От окошка кассы отошел мужчина, пересчитывая сдачу в непривычных гривнах.

— Здравствуйте! И я после грозы! — улыбнулся он Анечке. — Меня зовут Никита, — напомнил он.

«Ливадия, Виноградное, Массандра, Отрадное. Никита... Никита!»

— Никита — местечко на побережье.

— Есть! Есть! Хотите, поедем? — Его восторженность раздражала. «Пьяный? Москвич, конечно».

Служитель открыл им хлипкую дверцу фуникулера.

— А надо вдвоем или втроем можно?

Он не понял.

— Я с собакой, а мужчина отдельно.

- Можно, деточка, можно собаку.
- Тридцать килограмм.
- Тогда не надо собаку, не надо.
- Она — моя. Это моя собака.
- Ну так и поезжайте.

В кабинке они оказались неприятно близко. Он что-то говорил ей — она не слушала. Смотрела на его вращающуюся по кругу, на непрочно укрепленном шарнире, неглубоко вмонтированную челюсть и боролась с приступами тошноты, накрывавшими её высокими волнами. Отвернувшись к окну, теребила Марисоль по затылку между воротником комбинезона и соскользнувшим капюшоном. Марисоль, аккуратно поставившую передние лапы на узкий подоконник кабины, не болтавшую, внимательно смотревшую на далекие горы.

Серая Ялта, посеревшая от ночного дождя и утреннего снега. Поломаные ветром осины и пальмы, тяжелыми листьями склоненные до земли. Переломленные сосны одни сохраняли гордость, падая на землю негнушимися стержнями. Частные одноэтажные домики и жалко копошащиеся в своих двориках люди. Никитина челюсть описывает круги. В тесноте кабинки пахнет вином и мужским одеколоном. Анечка задыхается.

Их рвануло вперед, дернув чьей-то сильной рукой за крепление кабины к тросу, и быстро потащило. И резко остановило. Хлипкая щеколда слетела, и дверца распахнулась. Никита, обернувшись и непроизвольно перенеся тяжесть тела в сторону двери, не удержался на ногах и провалился в дверной проем. Его тело еще оставалось внутри, ноги смешно болтались снаружи. Кабинка качалась, крепления трещали. Анечка изо всех сил прижимала собою Марисоль к стенке и тоже скользила и, ломая ногти, не зная, за что ухватиться, держаться, скатывалась вслед за Никитой к двери.

Она боялась обернуться, боялась этим движением помочь своему падению и все-таки бегло взглянула назад, на Никитину вращающуюся челюсть, наверное, он что-то кричал ей, наверное, ей, и раскачивал кабинку, пытаясь затянуть тело в узкий дверной проем. Анечка отвернулась и сквозь мутное стекло увидела горы в белой поволоке, там, наверное, сейчас

идет снег. Под рукой отчетливо билось сердечко Марисоль, неглубоко зашитое в ее беззащитное голенькое тельце. Анечка решила и, полуобернувшись, резко топнула ногой, и Никита полетел вниз — кабинка выровнялась, и Анечка, закрыв дверь изнутри и обняв Марисоль, села на пол. *Royal Canin. Встречайте юную чемпионку России.*

Связан костюмчик к зиме. Гномики пришли с прогулки — четыре сапожка сушатся на батарее в ванной. Красиво загорели в солярии перед выставкой. *А я знаю 25 команд. А вы?* Они стали чемпионами в начале зимы. *Девиз компании — «Знание и уважение».* *Показать полностью...* Компания *Royal Canin* вот уже 45 лет остается верна своим первоначальным принципам. *Сегодня, как и четыре десятилетия назад, мы думаем прежде всего о животных. Наша цель — повышение качества жизни кошек и собак и укрепление их здоровья. Компания создана в 1968 году французским ветеринарным врачом Жаном Катари и с тех пор заботится о наших питомцах. Сегодня производственные комплексы ROYAL CANIN работают на пяти континентах, и мы можем предложить вам более 170 видов кормов для собак и кошек. Свяжитесь с представителями нашей компании вы можете по телефону 8-800-200-37-35 или электронному адресу contact@royal-canin.ru.*

Во время прогулки в зимнее время, особенно во время игры, собаки едят снег. Это может иметь серьезные последствия для здоровья животного. Запрещаете ли вы собаке есть снег?

Только не она, солнечная Мария из мексиканского сериала её детства. На похоронах ацтеки убивали специально выращенную мексиканскую голую ударом стрелы в насильно раскрытую пасть и хоронили её останки вместе с покойником, доверяя собаке сопровождать душу умершего в царство мертвых. *Самые горячие млекопитающие на земле, принадлежат к группе «шпицы и примитивные собаки».* *Редко вызывают аллергию, не имеют запаха и блох.* Ацтеки любили и умели готовить их мясо.

— Он за дерево. Рожа на британский флаг. Кто? Дааааэ-э, — протянул. — В отделение. Потом скажи за ними по побе-режью. Нет, собаку не надо, собаку зачем...

Подошел еще кто-то в форме. Анечка прислушивалась.

— Короче, прикинь, он рот раззявил, ну, со ста метров лететь, конечно, и ветку ам! И в хлебало по гланды, щека в лоскуты. Это, слышь, Максимов, давай только не быстро.

— Так я и говорю, на щеке висел, висел, дамочка?

— Не видела.

— А вот вы зря, вы вспоминайте.

— Мне бы хотелось домой.

— Бывает, а что делать, гражданочка?

— Почему всё так?

— Человек ходит, Бог водит.

— Нет, не бывает.

— И кожа хрясть и дыщ, но уже невысоко, плечо сломал, че-то ребра отбил, по мелочи, жить будет.

— И слушай, слушай, улыбаться широко! — Все вокруг засмеялись, кроме Анечки.

«Гуимпленом, по-европейски и очень по-французски».

— Это его баба?

— Да непонятно, спрашаю.

— Состав есть?

— Да непонятно, свидетели говорят, тряхнула она кабинку-то.

— Да ты че? — Человек в штатском широко понимающе улыбнулся.

— И он полетел.

— Откуда она?

— Да вроде из Питера. Прописка... Будь ласка, отвези ее, а...

Марисоль все-таки поехала с ней.

— Неоказание помощи человеку в опасной ситуации, — снова начал следователь.

Анечка молчала, оттягивая серо-розовую кожу Марисоль и закручивая ее нервными пальцами.

— «Неоказание помощи — оставление человека, который попал в опасную ситуацию, без помощи или игнорирование просьб о помощи». Он просил вас?

— Нет.

— Нет, хорошо.

Следователь снова низко склонился к бумагам. Лица его не видно.

— *Статья 136 УКУ. 1. Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, при возможности оказать такую помощь или несообщение о таком состоянии лица надлежущим учреждениям... А вы и не звонили никому. Вы пытались звонить? Нет, потому что — что? Собаку держали...*

...если это повлекло тяжкие телесные повреждения, наказываются штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арестом на срок до шести месяцев. Они ж видели, вы собаку держали.

Анечка не отвечала.

— *2. Неоказание помощи малолетнему... Это не подходит... 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли смерть потерпевшего, наказываются ограничением свободы на срок от трех... Если вот еще умрет, а может и умереть, кровоизлияние, в курсе? ...до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. А почему? Объективная сторона преступления выражается в бездействии субъекта... при возможности предоставить такую помощь либо несообщении о таком положении лица... Он вас просил?*

— Нет.

— Ну как нет? Как нет?

— Я сама держалась и даже не слышала...

— *Опасное для жизни положение предполагает, что потерпевший лишен возможности самостоятельно принять меры к самосохранению в результате того, что находится в беспомощном состоянии... это, например, пожарная часть, отделение милиции, скорая медицинская помощь, а также граждане и должностные лица... Тяжкие телесные повреждения — см. комментарии к ст. 121. Видели, видели, понимаете, из соседней кабинки и вас, и вашу собаку, и что ты спиной к нему повернулась! — Следователь разозлился.*

— Я просто держалась.

— 2. С субъективной стороны само бездействие совершается умышленно. 3. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо с 16 лет. Вы качали кабину, чтобы столкнуть пострадавшего на землю?

— Качалась сама, — выбрала Анечка медленно слова.

— Ветра не было. Свидетели видели ваше резкое движение. Ладно, послушаем еще пострадавшего. Подписку подписывайте.

«Всё ломается, всё неисправное, а виновата ты, ты!» По дороге в Ласточкино гнездо она остановилась перекусить в старом советском кафетерии. Соцветие гигантских грибов. Вокруг ножки каждого гриба столик. Советские граждане не рассиживались, стоя съедали пломбир из железных креманок и пили лимонад. Анечку мама посадила и держала на руках, а та накапала подтаявшим мороженым на платье, и мама до вечера с ней не разговаривала. Стена, закрывавшая от непогоды и дающая тень, с полуистлевшей, когда-то яркой мозаикой напоминала стены дворца эмира.

Анечка села за один из трех новых столиков, поставленных под шляпками грибов. Порекомендовали банановый десерт «Дамское счастье». Принесли целый банан, огромный, в натуральную величину, воткнутый в вазочку со взбитыми сливками и посыпанный крупной стружкой тертого шоколада. Анечка сфотографировала, конечно, для Instagram, но есть не стала, пила вино. С алкоголем она здесь, в Ялте, свободная от машины, перебирала и не могла и не хотела останавливаться, списывая эту слабость на курортное, быстро проходящее, не опасное настроение.

Гнездо как гнездо, красиво, фотогенично, скучно. На смотровой площадке под носками сапожков перекатывалась откуда-то занесенная сюда морская галька, неприятно скрипя, она царапалась о плиты. Марисоль сидела неподвижно в стороне, демонстрируя желание домой, и не «домой в номер санатория», а «домой домой».

— Случай на фуникулере... Так можно подъехать? — спросила Анечка в телефонную трубку.

Фонари на набережной в снежных шапках набекрень не горели. Вместо этого поблескивали обледенелые колонны, отражая свет редких автомобильных фар. Снежно — каждую ночь идет снег и днем тает и повторяет своё движение по кругу снова и снова.

— Вы ходили к пострадавшему?

— Отвезла продукты.

— Он ест через трубку.

— Ясно. — Анечка не хотела спорить.

— Больше не желаете сообщить?

— Нет.

По столу, обложенному папками «Дело №», рука, обернутая синей манжетой, придвинула к Анечке несколько бланков.

— Макакишна, а Макакишна, нам ведь не помешает. — Анечка осторожно снимала с прилавка пакет с бутылками.

Ялта–Мариуполь, расстояние 532 километра, время в дороге около 7 часов. Быстрее всего на такси... на такси... Симферополь, Аграрное, Красная Зорька... И она уснула в первый раз за последнюю неделю на терпко пахнущем сигаретным дымом пассажирском сиденье.

Поезд Мариуполь–Курск, время в пути 14 часов 38 минут. Анечка приняла снотворное и забылась тяжелым искусственным сном. Что-то снилось, и во сне она пыталась понять что и не могла, и снова сон ею завладевал, и она силилась из него вынырнуть, вынырнуть из ванны, где ей делали массаж, руками отмахивалась от струи, больно бьющей из шланга. А готические шпили соборов серыми антеннами торчали в пустое, непроницаемо молчащее небо.

078Д скорый Курск–Санкт-Петербург (Московский вокзал), в пути 1 день 7 часов 35 мин. Отправление в 17.49... через шесть, почти семь часов. Анечка убежала из Ялты длинным путем, ретировалась, обещав этого не делать, а по первому требованию явиться для дачи показаний. Над платформой, растворяясь в небе, набирал последнюю высоту самолет, ей с Макакишной недоступный. *Международный аэропорт Курск-Восточный расположен в 7 километрах от Курска. Аэродром используется гражданской и военной авиацией, способен при-*

нимать и выпускать международные рейсы. До 2010 года осуществлял ежедневные рейсы в Москву и регулярные в Санкт-Петербург и Анану.

Пьяный носильщик упал на ее чемодан и сумку. И помог парень, без дела стоящий на платформе, с высоко взбитой копной кудрявых черных волос. Погрузил за сто рублей на тележку багаж и носильщика и довез до здания вокзала.

— Приди вот во столько, — Анечка показала ему время на циферблате ручных часов и ту же цифру на циферблате часов на здании вокзала. — Понимаешь?

— Фарух, Фарух, — кивал и улыбался он.

«Ворошить, тревожить, баламутить воду, волновать, беспокоить — хорошее имя, чтобы оно ни значило».

В СВ постелено. Анечка перевернула на стол косметичку. Щипчики, гигиеническая помада, крем для рук, таблетка, последняя таблетка из порванной упаковки. Проснулась в Орле около двадцати часов. Подняла жалюзи и увидела свое отражение и отражение купе в окне — зеркальное отражение, продолжение. И вспомнила ту фотографию. «Распятие» Педро Орренте, Испания, солнечно, билет 14 евро, этаж 0, этаж 1, 2, и больше нет сил. Museo Nacional del Prado. На темном холсте под стеклом три освещенных тела: Христа, Девы Марии и Магдалины. И она поднимает телефон и фотографирует свое отражение, переплетенное, смешанное защитным стеклом с телом Христа. Селфи показалось ей удачным.

Вначале фотографировать свои отражения и тени, изгибы пустых европейских улочек, «закат Европы». И Бродского на пристани в Венеции, подкравшись сзади и чуть сбоку; капюшона в бурой рясе со складками капюшона на плечах и в сандалиях на босу ногу. Краешек маскарада. И если альбом о Лондоне, то «мне приснилось небо Лондона» и облака из иллюминатора самолета в черной раме Instagram.

Она подходила к пугающе сложной, заманчивой архитектуре через фотографию, через частные уроки у Ивана Саблина из Российского института истории искусств, вчитываясь в справочник для поступающих в вузы города. Через небольшой, но налаженный бизнес, покупку общей с Сашей кварти-

ры и «глазастого» «мерседеса». Через путешествия, объехав Европу вдоль и поперек и постояв в тени каждого её великого памятника. Год подготовительных курсов, покоренная усидчивостью и немецкой аккуратностью приемная комиссия, дневное отделение в архитектурно-строительном.

Ей тридцать восемь — подвявшие бутоны на натюрморте.

— Опять его ждешь? Семинар... А он с мальчиками по саунам! — орал Саша в телефон, и она бросила, не доучившись, первый курс. Тогда в их семье появилась Марисоль — не ребенок, но все-таки компромиссный вариант. Многие их знакомые заводили собак вместо детей, и ничего, были счастливы.

Они выкармливали Марисоль творогом и куриными грудками и никогда не оставляли одну. Меняли подгузники, купали в ванне. Она кормила бы и грудью, если бы могла.

Анечка вернулась к дизайну интерьеров, скандинавский стиль, дизайн-проекты для друзей, дизайн их с Сашей квартиры... *выставлена на продажу*. Лучше дом, да, она построит себе с Марисоль загородный дом.

Диетологические решения для стареющих собак. С возрастом собака становится более замкнутой и меньше двигается, хотя именно движение ей особенно необходимо. Хозяин может сам вовлечь собаку в подвижные игры, чтобы стимулировать ее физическую активность. Есть ли у вас состарившаяся собака и играет ли вы с ней? — читала Анечка рассылку на электронной почте. Взрывы петард, как и любые резкие звуки, пугают собак и могут вызвать сильный стресс. Поэтому не оставляйте животное в одиночестве во время праздников. ROYAL CANIN разработал специальный корм для животных в стрессовых состояниях и в период адаптации: <http://www.royal-canin.ru/dogs/production/vet/vdc/cal...> Если есть подозрение, что у вашей собаки стресс, попробуйте Calm CD 25 для профилактики.

Тула 1 Курская, 22.30. Но сначала, до Европы, Стамбул, норковый короткий жакет с кожаными вставками, джинсы и высокие проститутские сапоги, 90-е, работа оператором ПК в алкогольной компании «Веда» на ликеро-водочном заводе в Кингисепе. «Хлебная Дорога» — доступные недорогие мар-

ки. В среднем ценовом сегменте представлена водка «Русский размер». В сегменте субпремиум позиционируются «Матрица» и «Вальс-бостон». Анечка, надев наушники, прихододала и расходовала ящики, палеты, вагоны в программе Excel и мечтала о работе, где бы всегда играла хорошая музыка, стояли уютные диваны и можно было заказать чашечку ароматного эспрессо.

До Европы немного Востока — перевалочный пункт — астрология, чакры, Ошо, буддизм, растворяющий в небытие. Проект спасения в Гималаях накануне нового тысячелетия, смета и детальный план действий: свить плот и погрузить на него всех близких, Ноев ковчег уплывает к новым берегам.

— Породистая: узкие запястья, лодыжки, волосы, красивая, мечта поэта — и одна, бедра — и никогда никого... у нее своё, очень личное... чечевичное. А я истекала кровью двое суток на каталке у лифта, прямо в коридоре, а медсестры о дачах что-то своих, вишнях, яблоках. Ну и всё. А мне, понимаешь, неудобно сказать, побеспокоить, разговаривают, своя жизнь.

И Европа перетянула. Не без помощи Саши, не без его брезгливости к азиатчине. Анечка вышла из игры го вслепую, не попытавшись пройти даже первый уровень. И они с Сашей начали играть в бисер, ездя в Европу каждый месяц на два-три дня.

Погода как в Петербурге, только чисто: производная качества даже в этом. Из той же травы, земли, листьев и осадков. Доверие и чистота, — делилась радостью она в социальной сети.

В Брюсселе пиво из высоких бокалов, кровати и лимончик для Саши. Листья салата, красная рыба и бокал белого вина — для нее. И фотография, обязательно фотография, и Сашина мама нажимает сердечко и делает перепост на свою страницу, где березки, цветочки, православие, игра в Елочку 2014 — Мишка 3-й уровень, Изба 2-й уровень. И Анечка понимает, почему Саша не любит Родину.

Поезд на Гаагу: два этажа, столики, Интернет, мягко, чисто, но дорого — 10 евро за 15 минут в дороге. Или заповедник

на берегу озера Сайма, коттедж. Дальше может быть Тампере, Пиза, Тоскана, кальмары, гребешки, мидии, овощи на гриле, моцарелла, лазанья, монтепульчано и соаве. *Но и о Родине, конечно, не сразу забудешь* (у сувенирной лавки с матрешками). Хотя Саша мог в Голландии, например, досадно попасть в кадр в черной олимпийке с белыми лампасами и с головой выдать себя. И Анечкин мир, созданный по европейским стандартам, разлетался в прах. Но она, хорошая девочка, старательная, снова его, мир, собирала.

Собак-космонавтов Белку и Стрелку звали Альбина и Маркиза. Но клички оказались советскому руководству буржуазными, и перед полетом их заменили. А как выбрали кличку для вашей собаки вы?

Москва, Курский вокзал, 01.36. В самом начале она смущенно представляла его «друг» или Шура Мартынов. Путешествовали по Сербии, Хорватии. Местная настойка «Пелинковач», напитки покрепче. Той весной, со сбитым прицелом, после Максима и всего, что у них не получилось, «звезда северного шансона Шура Мартынов» пришелся кстати. Дожливо, влажно. Фотографии цветов-убийц — приглашающие невинные ладони бежевой кашки с мертвыми насекомыми на дне.

А как Вы думаете, собака любит только добрых людей или сердце собаки безгранично и она в каждом человеке видит хорошее и любит его? — спросила Анечка под одной из фотографий Мартынова со случайным щенком.

...Примерно треть собак укачивает в машине. Существует несколько советов: сбавьте скорость, откройте окно, сделайте остановки, не курите и избавьтесь от ароматизаторов. А как ваша собака переносит поездку?

Тверь, 03.30. Собак она любила всегда. Они появились на ее фотографиях сразу, как предчувствие: сначала чужие, а потом они купили Марисоль, и с путешествиями пришлось завязать.

«Преданность собаки — это драгоценный дар, накладывающий на того, кто его принимает, неменьшие обязательства, чем человеческая дружба». Конрад Лоренц... Член НСДАП с

38-го. «*Ich war als Deutschdenkender und Naturwissenschaftler selbstverständlich immer Nationalsozialist*»*... *четыре года в советском лагере в Армении... книга «Оборотная сторона зеркала». «Если агрессия вызвана внешним раздражителем, то она выплёскивается не на раздражитель, а направляется на нижестоящую особь или неодушевлённый предмет... Семь и еще один новый грех человечества... перенаселение, опустошение жизненного пространства, высокий темп жизни из-за всеобщей конкуренции; возрастание нетерпимости к дискомфорту, генетическое вырождение, разрыв с традицией, унификация менталитетов, угроза ядерного оружия...» «Человек встречает собаку». («Человек находит друга»).***

Вышний Волочек, 04.50. «Сделать ремонт во втором офисе», — записывала Анечка в коммуникатор задачу № 12 (из ста) на ближайший год. Стеллажи, стеллажи... Дизайнеры ИКЕА, вдохновленные европейскими кладбищами у крематориев, чертят черные ячейки для ящичков. Вставил, вынул, вставил, вынул для мужчин, воспитанных женщинами, и женщин, ставших мужчинами. *Механик сообщает Рассказчику о двух новых правилах бойцовского клуба: никто не может находиться в центре бойцовского клуба за исключением двух бойцов; бойцовский клуб всегда будет бесплатным.*

У Ани безбровое скандинавское лицо. Ее можно принять за шведку или норвежку. Аккуратные черты лица, без размаха и излишеств, ясный, быстрый взгляд, каре — свободно спадающие, естественно вьющиеся пряди. Тот же тренд в одежде — неброско, добротнo, комфортно. Размер 42-44 с незначительными колебаниями. Ее портят неровности на лице, бугорки на скулах и лбу, старят. И сухой астматический кашель, выматывающий, душастый.

Саша — характер нордический, новосибирский. Под Аниным влиянием бросил курить и до плеч отрастил редющие волосы. Напряжен и собран, педантично следует распорядку дня, немецкая аккуратность и дотошность, изматывающая

* Как немецкомыслящий и естествоиспытатель, я, разумеется, всегда был национал-социалистом (нем.).

** Книга Конрада Лоренца.

даже Анечку, единственного человека на Земле, способного его выдержать.

В Голландии умилялись деревянным детским коляскам, заглядывали внутрь и видели утопленные в кружеве детские человеческие и собачьи мордочки. Фифти-фифти. Для России они присмотрели двухместный велосипед с корзиной впереди и козырьком от непогоды. Анечка и цену узнала, и способы доставки.

Бологое, 05.40. Таблетку не выпьешь, можно не проснуться вовремя. Да они и кончились. «Та была последней?» По папиной линии сплошь ювелиры, династия. Анечке не исполнилось и года, когда родители перестали жить вместе. Мать из семьи служащих, технической пролетарской интеллигенции. Она отдала Анечку, все ее так называли, а она называла ее Нюрой, почему-то в железнодорожный институт на эконо-миста.

Электрик Саша Мартынов еще мальчиком начал собирать пластинки — покупал, менял. Со временем перевел хобби в бизнес. Европейские ярмарки, барахолки, купить, продать, сдать на комиссию в музыкальные магазины на Родине, денюжка кап-кап. Музыканты пели, плясали, сгорали, умирали двадцатисемилетними, и всегда находился электрик Саша, приходивший и вырубавший свет на сцене, фасовавший их несбывшиеся иллюзии в коробки с маркировкой Евросоюза, и с холодным сердцем продававший осторожным до бунта респектабельным коллекционерам, и тихо, но неуклонно лысевший. Собранная им в юности рок-н-рольная группа успеха не имела. Не всем же петь, кому-то и жить.

Дружба дружбой, но табачок врозь: Анечка — владелица магазина, он — поставщик на особых условиях.

Окуловка, 06.33. Принесли завтрак. Марисоль дважды немка, судя по фамилиям родителей. *Данке шон*, — надпись на их с Сашей фотографии из Германии, iPhone, Instagram, белые прописи букв. Мелкая, крошечная, только-только вылупившаяся буржуазия.

— Ты же знаешь, мне главное, чтобы покакала. Обо мне не думай. Поела и покакала. Да, целую. Через пять минут вы-

езжаю. — Анечка положила телефон на стол. — Так вот! Надо брать пример с Европы — там работают больше, лучше, алгоритмы процессов отлажены и времени тратится меньше. И люди больше отдыхают. — Анечка помолчала. — Согласись, неприятно, когда продавец разговаривает при покупателе с кем-то другим о посторонних вещах.

Уважаемая Светлана, рецептура продуктов ROYAL CANIN идентична для всех производственных комплексов во всех странах, где производится наша продукция. В рационе British Shorthair как французского, так и российского производства в составе нет ингредиента «свекольный жом». Если Вы столкнулись с нежелательными реакциями со стороны организма животного, то просим Вас обратиться в Службу поддержки...

Поскребешь — за тонким европейским налетом коңдые 90-е. Свой маленький бизнес Анечка вела жесткой рукой. Главное — быть в курсе, владеть информацией, сплетни, стук-стук. Девочка Женя из Ханты-Мансийского округа — русская с узкими глазами в прищуре — дневала и ночевала в магазине за двадцать тысяч. Начнет Север вспоминать и убитого папой оленя вспомнит. Женя вернулась однажды со школы, а олень в ванне лежит, и мама носится по квартире в бигудях, не может освежевать. Женя за Путина: «мы стали более лучше одеваться». У Жени ипотека — еще 14 лет выплачивать. Потом купит машину, сдаст на права, потом дача, и, наконец, гроб. Замуж только выйти не получается. И она рассказывает Анечке всё, честно-честно. Из лучших, конечно, побуждений, «Фонотека» ведь ее дом и семья. Анечка горячку не порет. Дает людям шансы, боится плохой кармы, терпеливо проводит беседы, развлекается, а уж потом надевает специальную железную насадку для руки, хранящуюся у нее в сейфе.

И тонкий слой европейской «культуры» задирается, забываются и заграницы, и правила этикета, и полтора высших образования:

— Не залупайся, поняла?

Или:

— У тебя руки из задницы растут?

Вы знаете, что ваша собака должна получать пищу строго после того, как вы сами закончите трапезу? Это соответствует иерархии в стае, которой является для собаки ваша семья. А у вас дома кто обедает первым: вы или ваша собака?

— Ну почему, дас ист фантастиш, у Ани фашистская голова? О, Господи, Боже мой. О, мани, мани, блю.

Простейшим критерием жизнеспособности группы является наличие у неё глаз — нескольких соседних пустых пунктов, со всех сторон окружённых камнями. Наличие у группы двух или более глаз делает её, безусловно, живой, но строить группу с двумя глазами для игроков невыгодно: на оформление глаз тратятся лишние ходы. Поэтому обычно ограничиваются построением форм, которые в случае атаки всегда можно превратить в группы с двумя глазами.

Малая Вишера, 07.42. «Фонотеке» 8 лет, отношениям с Сашей — 6. Марисоль называют Макакишной по фамилии Саши — Мартынов.

С Максимом у нее был Огурчик, котенок-тигренок. А с Сашей семья из «Танцующей в темноте»* — благотворительно раздадут ненужное, захламляющее их жизненное пространство, +100500 к карме и резкий удар по любому, кто нарушит их тишину и комфорт. Скромное обаяние буржуазии.

Друзья мои, вот, например, стул. Когда вы приходите в кафе, аккуратно отодвиньте стул (иногда даже лучше придвиньте). И — внимание! — когда уходите, обязательно его придвиньте. Такие граммар-нацисты как я, оценят ваше уважение к окружающим. Этот жест давно является тайным знаком воспитанных людей: вам может даже кто-то неожиданно подмигнуть!

Анечка родилась в Ленинграде. Далеко не в центре. В центр выбиралась с классом на экскурсии и на институтские лекции. Мать держала в строгости и презирала в ней отцовскую тягу жить сыто, в достатке, выбивала. Ей, видите ли, мало на столе ужина — букетик цветов подавай и свечечку, и салфеточку из ИКЕА. Напоминающую Анечке, что у нее всё

* Фильм Ларса фон Триера, Франция, 2000

хорошо, что она не пакистанская девочка, прикованная цепью к ткацкому станку ткать эту самую салфеточку.

Сменить обстановку на кухне, установить удобный стеллаж в кабинете или приобрести забавную мелочь для гостиной. Проповедь «исторического оптимизма», уникальный интерьер из стандартного конструктора «Собери сам».

Анечка аккуратно вела линию по альбомному листу. Задача № 14: разместить на тридцати метрах второго офиса новые стеллажи, тем самым увеличив полезную площадь хранения втрое. Задача № 15: продать старые стеллажи.

Общая территория их магазинов равна площади 600 футбольных полей, каталоги печатаются тиражом, превышающим тираж Библии, и давно стали самыми читаемыми книгами на планете, каждый десятый европеец зачат на кровати ИКЕА. ...принадлежность к благополучному среднему классу. Использование в рекламе изображений однополых пар. «Вот и завернулось!». Анечка и Саша иногда оставляли Марисоль лесбийской паре, типично питерской, приятные девчонки, одна работала в «Фонотеке». Перед Новым годом Анечка её уволила.

За чертежом некстати вспомнился переезд во второй офис, лето, пол, забрызганный сладкими каплями арбузного сока. *Вот разбираю сейчас анкеты желающих трудиться в «Фонотеке». Многие увлечены чертями, кладбищами, очень много вегетарианцев, фруктоедов... сексуально раскованных, разумеется. Любят музыку, кино любят смотреть, интересуются зарплатой! Мы ищем простые лица: они смотрятся так оригинально!!!*

Санкт-Петербург, 10.01. 2109 километров. «Чудовищно большая страна! Это же, наконец, безвкусно, пошло — быть такой бескрайне огромной».

А когда Марисоль исполнилось полгода, Саша ушел к другой, даже не от него беременной, даже не первым ребенком беременной, никогда не бывшей замужем девушке. Познакомился, гуляя с собакой в парке Победы на Московском проспекте, и ушел. Она осталась с Марисоль, часто простужавшейся и болевшей. Она прибавляла максимально возможные

пятнадцать лет к своим тридцати восьми, пытаюсь представить себя в пятьдесят три без Марисоль.

Она ведь переманила его родителей из Новосибирска и организовала подобие семьи. Мексиканская голая — внучок. Она говорит «мама» и «дай» басом, хоть и девочка. С первого помета Анечка оставит себе щенка, страховку. *Я от нее получила уже столько любви и тепла, сколько не получала от всех своих близких, вместе взятых, за всю жизнь. А ей только год!*

Саша ушел жить к родителям в трехкомнатную, поднятую Анечкой из руин, квартиру в сталинском доме на Московском проспекте. Хотя это она планировала со временем, после смерти его родителей, с ним туда переехать. Но туда переехала новая Сашина жена с двумя детьми не от него.

Анечка гуляла с Марисоль в парке Победы под окнами их с Сашей квартиры и смотрела на уток. Кормила их. Сравнивала с собой. Они, ожиревшие от батонных людей из соседних домов, разучились летать. Анечка договорила с Сашей никогда здесь не встречаться. Парк оставался за ней с Марисоль, пока квартира не продана и не поделены деньги. Когда такси, привезшее её с вокзала, притормозило и Марисоль рванула в парк, Анечка резко натянула поводок и собака, поперхнувшись, закашлялась.

Консьержка приветливо выглянула в открытое окно каморочки, отгороженной под лестницей:

— Анечка, милая, здравствуйте. Мы скучали! Мы вас ждали! Марисоленька, Анечка!

Подъезд, пахнущий чистотой. Пять этажей и дом, милый дом.

— Посмотрите за сумками, отведу Марисоль.

Почтовый ящик, газеты, объявления, приглашения и ни одной открытки. Ни одной отправленной из Ялты открытки! Она писала каждый день по одной открытке. Один день — одна открытка. Приедет — прочтает. Анечка отовсюду слала себе открытки, получала и читала.

Она рванула на себя дверцу почтового ящика и оторвала. Откинув её, ненужную жестянку, маленькими, детскими ку-

лачками яростно била по соседским letter box*. Шкаф слетел с правой петли и повис на левой. И продолжала бить по нему ногами, пока он не покатился по ступенькам к выходу из подъезда. Остановившись, смотрела на неглубокие порезы на руках. На Марисоль, испуганно забившуюся в угол. Встав на колени, рыдая, тянула к ней раскрытые ладони:

— Мама больше не будет, мама больше не будет, милая, мама сейчас успокоится.

В двух шагах от Львиного мостика

— Кто дышит? Ты дышишь? Не дыши, перестань! Не дыши. Ты! Не дыши! — Сережа перевернулся на спину.

Утюг, носки, стол — значит, он заснул. Встать и вынуть из-под утюга высохшие носки. Вылезти из-под одеяла и наступить на ледяной пол. Горелым не пахнет. Легкий пластиковый утюг набирает в легкие воздух и тяжело выдыхает сухой пар, пусть.

Сережа Пушкин в черных трусах и носках сидит на узкой кухне. Наверное, отопление отключили ночью. Края вздувшихся обоев криво свисают со стен. Желтый потолок в потеках талого снега. Сережа сидит на холодной табуретке, нога на ногу, склонившись к коленям, дрожит, курит. У балконной двери с разбитой первой рамой и треснувшей второй. В трещину с улицы здорово задувает.

За окном крыши жилых домов обступили почерневшие стены сторевшей бани. Ветер метелит, полошит её временную полиэтиленовую крышу, рвет и далеко отгибает полотнище высоко поднятого белого флага, заноса в бывшее мужское отделение крупные сегодняшние снежинки. Две чугунные трубы давно не дымят в небо — печи потухли. Два темных железных ствола, две оси, когда-то давно намотавшие на себя

* Почтовый ящик для входящей корреспонденции, соответствует почтовому шкафу в многоквартирных домах.

город, отпустили, больше не держат, и бесцельно бредущий ветер спотыкается, закручиваясь в воронки, затягивающие, прибывающие к облупившимся фасадам домов, ждущих и раскрывших свои студеные объятия.

Перегороженные в коммуналки квартиры бывшей столицы, когда-то наводненной пролетариями с окраин империи, покрываются белой изморозью и растворяются в небытие, превращаясь в еще один городской мираж. Пролетарии не оставили в наследство внукам ничего, кроме горькой маргинальной усмешки, скорченной за непроницаемым фасадом повседневной жизни. Спрятавшиеся во внутренних дворах, никуда не спешащие, никогда не опаздывающие, жильцы показываются всегда под вечер, сшибают на пол-литра и чудовищем уползают обратно.

За баней пятиэтажный дом, невидимая набережная реки Мойки и купол Исаакия последней призрачной надеждой, неверной фата-морганой прорисовывается сквозь «вихри снежные кружа». Порожек на балкон обледенел. Снег идет в доме, снег. Сережа курит горькую сигарету. Вспоминает жену, идущую невестой через двор зоны, вышагивающую с высоко подобранным подолом подвенечного платья. И падающий на её обнаженные руки и не тающий снег.

Жена утром ушла в шесть. В темноте нащупав его губы, склонилась над ним и разжала руку с мятой тысячной. Завернув сваренный кофе в шерстяной платок, оставила на трельяже.

— Выпись.

Накануне он всегда не высыпался, ворочался, курил в туалете, боясь её разбудить.

По крыше соседнего дома бегут подростки. Один, поравнявшись с куполом Исаакия, поскользывается на его фоне. Сережа встает и идет в комнату за кофейником.

После отсидки Сережа Пушкин сильно сутулится. С раннего детства от него ждали откровений. Возлагали надежды, завышали оценки. И маятник качнулся в другую сторону. Предательски похожий на мифического прапрадедушку, жесткие курчавые волосы Сережа поэтому сбрасывал машинкой до зер-

кального блеска макушки. И прятал тяжелую африканскую челюсть в трехдневной щетине.

«Я — маленькая лошадка, и мне живется несладко», — мурлычет Сережа в ванной. Забравшись на доску для тазов, он дотягивается до воздуховода под потолком. Невысокий, тяжело достает до облепленной паутиной решетки.

«Мне трудно нести мою ношу — настанет день, и я её брошу», — положил решетку в раковину, с усилием вытянувшись в струнку и допевая «брошуууу».

В дверь позвонили. Сережа вздрогнул, покачнулся, задел раковину коленом, свернул её, громко расколовшуюся, на пол и сам, беспомощно корябая скользкую, наполовину окрашенную стену, сел в пустой сухой ванне. Какая разница, сегодня последний раз — сюда он не вернется. Пришел сосед Вася, сын режиссера Картышева. Вася работал осветителем в Мариинском театре.

— Дай полтинник, дружище, — Вася переступил порог и тревожно заглянул в глубь квартиры.

— Полтинника нет. Через час. Выйдем вместе.

Вася согласно кивнул и, отступив за порог, прикрыл за собой дверь.

Сережа вернулся в ванную комнату с табуретом. Шатко поставил его на доску и по плечо засунул руку в вентиляционную шахту. Щека терлась о шершавую, давно не беленную под потолком стену. Пакет, провалившийся в щель между перекрытиями и неожиданно закончившейся трубой воздуховода, не доставался, пальцы соскальзывали с гладкой полиэтиленовой поверхности. Он слишком глубоко его засунул вчера.

В подъезде у окна их третьего этажа ждал Вася. На втором этаже курили парни, не местные, бородатые, в камуфляже. В татуировках и с выбритыми висками, смотрели в окно. Из распахнутой рядом двери тянулись на улицу кабели. Сережа спустился дальше на первый этаж и, дернув дверь дворницкой, взял лом.

В ванной прирововался и ударил, отковырнув от стены шматок штукатурки. Очень спокойно долбил стену, расширяя вентиляционную шахту. Поддаваясь, кирпичные куски падали

в ванну. За стеной что-то запищало, засвистело. «Птица упала с чердака». Кричала, била крыльями, испугавшись тесноты, а пакет, наверное, провалился ниже. Птица кричала громко. Птицу было жалко. Сережа заметил — они с птицей похожи.

— Че долбитесь? Офонарели?! Мы звук пишем! В жизни чего не хватает? Заводы стоят! Молодежь! — Человек в милицмейской форме нервно ходил по Сережиной прихожей, поглядывая через его плечо на дверь ванной. Сережа тупо смотрел на него, не сразу узнав соседа со второго этажа и не сразу вспомнив о не закрытой на замок двери. «Форма мятая, в темных пятнах». Сосед, сказав свою реплику, вышел.

Сережа выскочил следом:

— Слушай, а вентиляция не знаешь, как идет? Ты под нами...

— А у меня ее нет.

— Нет?

— И не было. Тут вообще раньше ничего не было.

— Вентиляция всегда есть...

— И лестницы этой не было... и лестницы... на капитальном ввинтили.

— А что было? — обреченно спросил Сережа.

— Квартиры были, девятнадцатый век был. Меня не было.

— А как люди в квартиры поднимались?

— Да хер знает! Пристал. Через окна залетали. — Пройдя мимо парней с татуировками, они вошли в его квартиру на втором этаже.

Сережа уже знал, что не достанет пакет. Он еще утром знал, когда жена уходила, а он оставался досыпать и собираться. Он знал, что не приедет к ней в аэропорт, что она не пропустит, не глядя, его на личном досмотре со свертком. Что он не сядет в самолет и не улетит в Италию. И уж тем более не вернется обратно.

Вася в ожидании полтинника семенил за ними. По жестким, обнаженным костям кабелей, тянущих щупальца к генератору на улице.

— «Ментов»* снимаем, чего-чего, а вы чего бродите? Заводы стоят, они шлындают! Когда работать будете?

* Телесериал, Россия, 1998 г.

— Да некогда работать. А может, мы тут? — протиснулся Вася в прихожую.

Сереза стоял у раскрытой двери ванной. На полу лежал труп в луже крови. Вдруг труп приподнялся и, облокотившись на локоть, налил себе из стоящей под ванной бутылки полстакана, выпил и лег снова на кафельный пол.

— Остываю! Снимайте подлецы.

Сосед, ругавшийся с кем-то в комнате, выглянул:

— Мужики, вынесите пианино, а?

— Куда?

— Куда-куда? На улицу, куда!

— Там снег...

— Да шут с ним! Отыграло-отплясало, бутылки в него складаю... А то свет не поставить им, видите ли.

— А эти чего?

— Белая кость! Броненосец «Потемкин»! От двух бортов им в середину!

Сосед суетился, больше радуясь не заработку, а толпившимся людям, нужности, интересу к своей неприятной холостяцкой норе.

— Чего платят? — Вася собирался рассказать о съемках отца на Кольском полуострове, незаконченных из-за его смерти.

— Хватает, и в массовке хожу. То понятным, сегодня эпизодник -участковый. Чего, кровь потянула? Раздолбали квартиру правда в конец.

Сосед прикрыл дверь в ванную.

— Нет, значит, решетки?

— Да заложили, говорю же, соседке воняет. Давайте-давайте, выносите, будь ласка.

Пианино фирмы «Мекленбург» 1905 года, тяжелое, от пыли серое. Парни с татуировками у окна в подъезде смотрят, не помогают, Васина нога запуталась в кабеле. Вытащили и поставили у подъезда. Снег перестал, ветер забрался под крышку и дергал за струны.

Сосед дал Васе полтинник, и он исчез в проеме арки. Сереза поднялся на свой третий этаж.

На лестнице уже стояла массовка; переключка, люди в милицейской форме. Даже парень разматывал кабель в накинутой на плечи форменной куртке. И Сереза опять вспомнил зону, знакомство, свидания с Наташей по телефону, регистрацию и трехдневный медовый месяц в тюремной гостинке. Вспомнилась и мать, приехавшая на регистрацию. Разбитная, беспокойная, взятая отцом замуж против воли родителей.

— Одна шельма вторую за собой тянет, — сказали бабушка с дедушкой о Наташе. У той дворовая кличка Апельсинчик, девять классов образования, густо покрашенные губы, короткая юбка и высокие сапоги. И, давая в прошлом году интервью, бабушка призналась — линия их потомков прервалась, Серези нет, нет и не было.

Долбить стену опасно и бесполезно. Пакет не достать. Если он не появится в аэропорту через два часа, его убьют. Может быть, он этого и добивается. Признался себе, и стало легче. Его забрали с первого курса кулинарного училища. Дали «десяточку», как большому: сбыт и употребление. Когда он вернулся, училище уже стало лицеем.

Ломом он расширял отверстие в стене. С каждым ударом Сереза чувствовал, сверток проваливается глубже. Птица испуганно трепетала где-то далеко, устав чирикать, стонала.

Выбившись из сил, он курил на кухне. В шкафу нашел полпакета с пшеникой. Сделав для птицы дорожку зернами в отверстие воздуховода, Сереза оделся, взял приготовленную Наташей черную сумку и вышел из квартиры.

На улице у пианино стоял дворник в оранжевом жилете и нажимал на клапаны клавиш.

— Фарух, кай меояд? Неравед!^{1*} — смеялись над ним сидящие на корточках у поребрика дворники с лопатами, ломами и страховками.

— Кто по-русски говорит? Ты говоришь? — Нервная женщина шуршала листками нарядов. — Пирогова, сейчас, Пирогова, пятнадцать... Надо, надо понимать! Если пешеход идет. Если что... С крыш полетите. Пианино возьмите-ка... Ой, да Господи Иисусе Христе, скажи им, — обратилась она к муж-

* Когда придет? Не уходи! (тадж.)

чине в жилете, за сорок, в низко надвинутой на узкие глаза шапке. — Берите и тащите, добру пропадать, в конторе поставим. Бери, бери. Выучишь, некуда деваться, вашу тарабарщину, чего и добиваетесь, ой, горе-горе!

Сергей через арку вышел на Пирогова — там гулял ветер, сбивал с ног, летел в тупик, стучался о глухую кирпичную стену и, возвратившись разъяренным, догонял, добирался до самой твоей сути. На таком ветру не поиграешь, не солжешь и от себя не уйдешь.

Свернул в тихий Прачечный переулок. Мимо мусорных баков-щелкунчиков, пустых и смрадных, дошел до улицы Декабристов, увидел Львиный мостик. Когда ветрено косматые львы машут каменными крыльями по-настоящему, грозятся улететь. Дальше в арку со светящимся коробом в изголовье — участок милиции такой-то. Но сначала в парикмахерскую. Там за сто рублей ему с черепа соскребут щетину.

Леонид Ильичёв

.....

Пять условных единиц

— У прохода хотите? — предлагает Вася.

— Спасибо, дорогой. Значит, опять нам с тобой четыре часа вместе лететь? — Я устраиваюсь в кресле поудобнее.

— А что? Я — не против. Истории у вас интересные. Помните, ту, про кредит?

— Какую? А, вспомнил... Кредит, Вася, это идея фикс тех времён. Могу ещё одну предложить.

Вася энергично кивает головой в знак согласия.

* * *

— Помню, шеф мой получил детальную информацию, что СССР ищет долгосрочный кредит на продовольствие под гарантии правительства.

«В список необходимых товаров, — шеф диктовал, а я записывал на листочке в клеточку, выдернутом из школьной тетрадки, — сахарный песок восемьдесят тысяч тонн, подсолнечное масло сорок тысяч тонн, соевый шрот...»

— Что такое соевый шрот, знаешь?

— Не знаю, — признаётся Вася.

— Вот и я не знал. Звучит романтично, да? А на самом деле это всего лишь жмых для комбикорма...

«И далее по списку». Шеф назвал ещё с десяток наименований в несметных количествах. Последним пунктом почему-то оказалось пиво в бутылках.

— Сорок тысяч тонн? Что-то многовато, — сомневается Вася.

— Тебе, Вася, видишь, «многовато», а мне тогда эти объёмы вообще ни о чем не говорили. Я и не представлял, что речь

шла об эшелонах вагонов, о десятках судов, о портовых операциях и коносаментх, о таможене... Счастлив, кто не ведаёт, что творит...

— Зачем всё же так много?

— Так ведь всё централизованно закупалось, за валюту, на весь город. Монополия. И на валюту государственная монополия, и на водку. Паника была: водку, мыло и крупы скупали, голода боялись. Особенно ленинградцы, кто пережил блокаду. Короче, с неформальным заданием найти кредит под поставки продовольствия мы с шефом срочно вылетаем в Швейцарию. Вернее, шеф со мной, а я с листочком из школьной тетрадки в клеточку. Швейцарский бизнесмен Джейсон Корелли встречает нас в Цюрихе, везёт на своём мерсе в Женеву, в офис солидного бизнесмена, поставщика продовольствия. Офис — прямо в центре города, целых три этажа занимает. На входе охрана за зеркальным стеклом, охранник нас видит, мы его — нет. Такая вот фигня... В кабинете кожаные мягкие диваны, интерьер как в кино про буржуев. Хозяин — лет семидесяти. Сидит за большим письменным столом. Его сын, мой ровесник, пристроился сбоку, жуёт палочку красного дерева вместо сигары — курить бросает.

«Ну-у-у, о чём-у-ум пойдёт речь?» — важным тоном спрашивает хозяин на понятном английском языке.

«Речь о продовольствии, — спокойно говорит шеф, и я синхронно, по мере сил, начинаю переводить. Мы сидим напротив стола на кожаном диване. У нас тут список».

Шеф показывает пальцем в бумажку, и тут впервые до меня доходит, что значит выражение «его бросило в холодный пот»: сельскохозяйственная терминология мне абсолютно незнакома... Что ж я раньше-то думал? Бегал по авиакассам, ОВИРах, а самое главное — забыл! «Всё... — подумал я. — Приплыли... Алексей Николаевич Толстой начался, хождения по мукам, в трех томах с комментариями... И тут вдруг вспомнил, как будет мука — вит! Говядину тоже вспомнил — биф — бифштекс! По мясу я в свое время получил хорошую тренировку: лет за пятнадцать до того я был в московском ресторане «Савой», помогал бедолаге греку, который не знал ни слова по-русски

и не мог объясниться с официантом. Помню, говядина у нас с греком была «му-му» — и указательные пальцы приставлены к голове. Баранина была «бе-бе-е», и снова пальцы к голове. Мы с греком прошли всех съедобных животных, причём он говорил по-английски и блял, а я догадывался и переводил на русский. Все-таки любая практика, пусть даже такая, — великое дело.

Свинину — порк, куру — чикен я и так знал. Баранины, кстати, в том ресторане не было, хотя в меню она почему-то значилась. Но и правительство, слава богу, баранину не заказало. Потом я вспомнил, как по-английски масло — ойл; правда, не знал, как перевести, что оно «подсолнечное». Просто нарисовал руками подсолнух, и меня сразу поняли: «Санфлауэ ойл!» Когда очередь дошла до соевого шрота, я, недолго думая, произнес: «Соевый шрот». Ничего оригинального придумать не смог... На мою удачу, это оказалось точь-в-точь по-немецки. О, соя шрот! Йа, йа!

Быстро сканируя известные мне английские слова, я синхронно переводил бурную, с вкраплением продовольственной лексики, речь шефа. В левой руке у меня был двойной листочек в клеточку, а правая рука, которая не знала, что ей делать, нащупала в щели между подушками кожаного дивана какую-то монету. Когда снова подали кофе, я улучил момент и рассмотрел её: это были настоящие пять швейцарских франков. А значит, пять пар носков и две футболки — словом, целое состояние, половина средней месячной зарплаты советского человека. С монетой было жалко расставаться, но и взять её было неудобно. И тут меня осенило. Когда переговоры были окончены, я достал свежееобретённые пять франков, широким жестом протянул монету хозяину офиса и объявил: «Я нашёл эту монету и вручаю вам на счастье как наш вклад в наше будущее партнёрство».

Кураж помог, понимаешь? Наверное, я компенсировал погрешности своего перевода больше чем на пять франков, все смеялись, очень довольные. Эта история с пятью франками как-то даже окрылила, я научился много свободнее вести себя на переговорах.

— И что, взяли кредит? — Вася, я уже давно заметил, мыслит конкретно, по-деловому.

— В тот раз — нет. Могли бы, но условия нас не устроили. Получилось с другими поставщиками. Кстати, вспомнил ещё одну историю — магия цифр сработала.

— Давайте, лететь ещё долго, — соглашается Вася.

— Это история про моего бывшего шефа. Необыкновенный был человек. В тридцать два года, беспартийный, стал руководителем вычислительного центра на огромном предприятии. Да ещё хипповал, как тогда говорили, стилижничал: позволял себе разъезжать по территории завода на электрокаре, в свободное время играл на саксофоне в оркестре кавказского ресторана. Ресторан в советское время, знаешь, это тебе не отдел на закрытом предприятии. Там совсем другие деньги. Подвалит, например, клиент: «Мужики, сыграйте про маму!» И всё, пятерка в кармане. А то и десятка.

Когда мы познакомились поближе, шеф как-то рассказал одну из своих историй. В городе был канал, где продавали коньяк: завод «Арарат» поставлял на свой филиал в Ленинграде сырьё для розлива в бутылки. По железной дороге приходили цистерны, и все знали, что на товарной станции можно разжиться коньяком. У шефа была служебная белая «Волга», но он предпочитал свою собственную. Он очень любил подвозить пассажиров, чтобы не скучно было. Денег за это не брал, хотя предлагали. Иногда пассажиры звали к себе на работу водителем: молодой разбитной парень, стильно одетый, — о таком водителе можно только мечтать. Шеф виду не показывал, но любил поторговаться: «А сколько платить будете?» Видно, никто не предложил больше, чем платили начальнику ВЦ оборонного завода.

И вот шеф договорился и стал время от времени покупать коньяк из цистерны, затаривал его в резиновые грелки и развозил по ресторанам — сначала в свой, а потом и в прочие дружественные точки. Понятно, что это было абсолютно незаконно. Коньяк ворованный, для ресторана товар левый... Чистая авантюра. Он у него шел в качестве подарка министерским работникам. В министерство в советские времена с

пустыми руками приезжать было не принято, но деньги совать было рискованно. Поэтому наши возили нужным людям трёхлитровые банки с коньяком. За это им подписывали разнарядки на получение вычислительной техники, разрешения на строительство, выделяли средства на оснащение. А заодно привозили из-за границы сувениры. И вот шефу как-то раз в качестве сувенира подарили пять долларов.

С этими пятью долларами его и сцапала милиция, когда он со своим саксофоном возвращался из ресторана и заснул в трамвае. Валюта — расстрельная статья, шефа потащили в Большой дом. Кто такой? Откуда «зелёные»? Попутно выяснились «тайные» операции с коньяком.

— И все это из-за пяти долларов? Это же вообще ни о чем...

— Вася, дело не в сумме. Валюта, пойми, в те годы — государственная монополия. За границу «низзя», значит, и валюту «низзя». Секретарь парткома завода давно уже точил зуб на шефа: ведёт себя независимо, беспартийный, зато анонимки поступают в партком регулярно: незаконное строительство ВЦ, девушки, коммерческая деятельность... Когда его вызвали в Большой дом, он там такого про шефа нарасказывал... Короче, они оба стали ругаться прямо в кабинете опера КГБ, и шеф обозвал секретаря парткома фашистом. Представляешь? Секретаря парткома! Да в те годы за такое... В общем, про пять долларов забыли, про коньяк — тоже, и вопрос уже перешёл в политическую плоскость. Директор, надо сказать, шефа любил, вовремя вмешался, и дело замяли. Но шефа перевели на другой завод, с большим понижением.

На новом месте шеф с нуля построил один из лучших в городе вычислительных центров, тогда-то я и пришёл к нему, там много ещё всяких историй было.

А со швейцарцем я потом встретился в Большом Кремлёвском Дворце съездов, на приёме по случаю завершения московского теннисного турнира. Увидел его, страшно обрадовался, мы же друзья, я ему пять франков подарил. Решил и его порадовать, пожал руку и говорю: «А вы знаете, мы заключили контракт, о котором говорили с вами». И назвал сумму.

Реакция была ошеломительная: его барское выражение лица сменилось на подобострастное, он подтянулся, выпрямился, щёлкнул каблуками, как заправский офицер, и выпалил: «Congratulation, Sir!»

— Ну еще бы! — с уважением произнес Вася. — Все-таки такая сумма...

Оказывается, все это время он меня внимательно слушал.

— Не в сумме дело, — я махнул рукой. — Понимаешь, нас кураж захватил! Открылось столько возможностей. А про деньги я тогда даже и не думал.

Брат президента Буша

— Нынешняя пропаганда нагло врет, будто Горбачёв загубил страну. Для меня девяностые годы, перестройка, были самым романтичным временем — Тогда для нас всё только начиналось! Например, в городе не было персональных компьютеров, и я лично привёз в Питер первый контейнер с сотней компьютеров. Представляешь себе? Пришёл к начальнику отделения местной ментовки, нанял у него людей для охраны, они с трейлером ехали из Домодедова, а я вернулся на поезде в купейном вагоне. Охрана особо и не нужна была — так, на всякий случай: бандиты ещё не расчухали, что это хороший бизнес, — говорю я Васе.

Мы с Васей обычно ездим в Москву на «Сапсане». Вася — продавец. Худой, высокий парень двадцати шести лет, выглядит моложе, несмотря на двухдневную небритость. Хотел бы я быть таким худым и стройным. И молодым, конечно. Но в последнее время я как раз нужен таким, каков я есть: пожилым, полнеющим, — для солидности, для «надувания щёк».

— Может, по коньяку? — предлагает Вася.

— Можно, — говорю. — Сегодня я не на машине. Но, знаешь, лучше, наверное, водку. Как тебе, кстати, американцы?

— Нормально... Работать можно.

— А я вот с иностранцем впервые встретился, когда мне уже было за тридцать. В те годы это, знаешь, как инопланетянина увидеть. А за границу в тридцать шесть впервые попал, да и то в Югославию. Ещё выездные визы были.

— Это как? — удивляется собеседник.

— Разрешение на выезд из страны. В паспорте штамп ставили «Выезд разрешён». А когда возвращались, загранпаспорта у нас отбирали.

Поезд — последнее достижение немецкой техники — разогнался, но шёл мягко, было незаметно, что скорость двести пятьдесят километров в час, хотя световое табло утверждало именно это.

— А американцы вам попадались? — После второй порции коньяка Вася расслабился и даже айфон свой убрал. Запах кофе перебил запах коньяка, это приехала тележка чай-кофе.

— Американцы? Были... Я, кстати, с братом президента Буша знаком...

* * *

Джейсон Корелли позвонил мне из Москвы и попросил организовать завтра вечером в Ленинграде приём гостей — делегацию из одиннадцати человек, включая трёх теннисистов и брата президента Буша с супругой. Сказал, что культурная программа должна включать балет, и добавил весомо: «Места в театре нужны хорошие».

Из всех иностранцев, зачистивших в нашу фирму, Джейсон вызывал у шефа наибольшую симпатию. Младший представитель богатой семьи, члены которой запросто общались с советским правительством, он излучал какое-то, знаешь, средиземноморское обаяние, особенно когда по его лицу расплзалась широкая белозубая улыбка. Английский — как у диктора телевидения: кажется, понимаешь каждое слово, даже если совсем не знаешь английского. Общение Джейсон всегда начинал с подарков: то двухкассетный магнитофон подарит, то электронные часы навороченные, и вручал это так элегантно и непринуждённо, глядя прямо в глаза, — ну просто

невозможно отказаться. И окружение не забывал: если шефу двухкассетник, то мне радио, шефу часы — мне калькулятор.

У принимающей стороны в смысле культурной программы на руках было три козыря: балет, цирк и фигурное катание.

Я побежал к начальнику.

— А зачем вам этот брат президента? — перебивает Вася, грея в руках бокал с уже третьей дозой коньяка. — Политики ведь только портят всё, весь бизнес.

— Сейчас поймешь... Это сейчас все такие умные, а тогда мы были «як диты», к тому же голода боялись. Всё как в песне: «Крокодил не ловится, не растёт кокос», цена на нефть девять долларов за баррель... Еды в стране почти нет — значит, нужно закупать, причем в кредит — денег в казне тоже нет. Америка готова была помогать, даже гуманитарную помощь посылала. А тут такой случай, к нам едет брат самого президента! Мы подумали, может помочь городу родному и получить этот кредит... ну, за комиссионные, конечно... Шеф был, как всегда, в теме, нашёл телефон приёмной мэра в маленькой красной книжце — справочнике АТС Смольного, поднял трубку смольнинского телефона и стал звонить по одному номеру, по другому... В итоге так никому и не дозвонился.

Эйфория, или первый подъём от удачной творческой идеи, прошёл, и мы дружно посмотрели на часы и календарь: полдень, пятница.

«Слушай, мне пора на дачу, — признался шеф. — А ты посиди, попробуй все-таки до этих козлов дозвониться.

С тем и отбыл. Я ещё какое-то время посидел на телефоне, но к трём часам тоже сдался. Что делать, непонятно. Решил звонить Саше. Был у меня такой старый приятель, министр городского правительства. Министр Саша сказал, что по пятницам в демократически избранное правительство Ленинграда звонить бесполезно, и единственное, что он может посоветовать, это позвонить домой адмиралу, первому вице-мэру. И дал его домашний телефон. Супер!

Первый вице-мэр игриво произнёс: «Аллёу?».

«Брат президента Буша, кредит, продовольствие, делегация...»

Абонент внимательно выслушал, не прерывая, и задал только один вопрос: «Кто вам дал номер моего телефона?»

Тайны я не выдал. Он повесил трубку.

Чёрт с ним, с кредитом, думаю, но завтра, в субботу, придут одиннадцать человек иностранцев, включая брата президента Буша и каких-то теннисистов, и что мне с ними делать? А билеты в театр для иностранцев продают только за доллары! Долларов сейчас не найти, придётся свои отдавать. Кстати, знаешь, ещё между прочим, не была отменена уголовная статья за валютные спекуляции... Вплоть до расстрела.

Выяснилось, что Мариинский театр на ремонте. Оставался только Малый оперный. Пропадай моя валюта, но зато перед иностранцами в грязь лицом не ударим, а заодно и балет посмотрю, давно не был. Я пошёл прямо к директору и потребовал двенадцать билетов в царскую ложу. Директор театра сразу проникся: живые доллары как-никак, ну, и брат президента Буша опять-таки — и выписал мне какую-то бумажку.

В субботу вечером на большом интуристовском «Икарусе» с табличкой «По наряду» на лобовом стекле я подъехал к гостинице «Астория» и гордо прошествовал с вопросом: «Где мои одиннадцать американцев?»

Видимо, я был достаточно убедителен и казался в своём праве: швейцар документов не спросил, хотя без документов тогда в гостиницы не пускали.

— На «Икарусе»? — Оказывается, Вася слушает, не теряет нити, что довольно редко для этих молодых джентльменов с их дробным вниманием. Транспорт у нас — большая статья расходов, от этого зависит и его личный доход. — «Икарус»-то зачем? Вы же сами сказали, там было только двенадцать человек...

— Ну, знаешь, другого транспорта для интуристов в те годы не было: только «Волги» и «Икарусы». К тому же шеф дружил с директором автобазы «Интуриста», и мы могли получить автобус без предоплаты...

«Так, где мои одиннадцать американцев?» — спрашиваю у швейцара.

«В ресторане. Ужинают». — А швейцары тогда работали на два дома: дверь открывали и заодно присматривали за иностранцами, постукивали, куда надо.

Спектакль начинается в семь вечера, нам ехать пора, а они всё ужинают! Вызвал метрдотеля.

«Сейчас им принесут омлет, и они скоро выйдут».

— Омлет на ужин? — оживляется Вася. Вопросы правильного питания его тоже волнуют. Он всегда фотографирует в ресторане тарелку с едой, когда мы гостей ужинать водим.

— Хороший вопрос, но тогда он у меня не возник, другая жизнь была: ну, омлет и омлет. И правда, в лучшем интуристовском ресторане города — омлет на ужин... Видно, и там начал ощущаться продовольственный кризис, не знаю.

Омлет запаздывал, наручные часы, и часы в холле гостиницы солидарно приближались к семи. А нам ещё ехать минут пятнадцать!

Брата президента Буша я узнал сразу: высокий, красивый, на удивление молодой, лицо точь-в-точь как у Джорджа Буша-старшего, только моложе, с молодой красавицей женой. Трое теннисистов — они выделялись ростом — от театра отказались в пользу ночного клуба. В театр мы приехали через пять минут после начала спектакля, когда на сцене уже танцевали. Ворвались в царскую ложу, и тут я обомлел: все места заняты!

«Вы что, обалдели?! Это же интуристы, с нами брат президента Буша!» — бешеным шёпотом заорал я на билетёршу.

«Сейчас, сейчас... — засуетилась билетёрша. — Вы только, ради бога, не волнуйтесь...»

Через какую-то минуту, кроме нас, в ложе уже никого не было. Под музыку композитора Цезаря Пуни вся компания чинно расселась. Жестами я пригласил брата президента с женой сесть в первый ряд, но тут поднялась какая-то суета, и в первом ряду слева от прохода оказалась пожилая пара: мужчина в клетчатом костюме и полноватая женщина — вылитая уточка, и нос клювиком. Брат президента оказался человеком скромным. Сел в третьем ряду справа, а я устроился у него за спиной. Попытался сосредоточиться на балете, но не смог.

«Вы ведь не гид? Кто вы такой?» — полуобернувшись ко мне, поинтересовался Буш.

«Как это „кто“? — удивился я. — Инженер, друг Джейсона Корелли».

«Корелли? — наморщил лоб мой собеседник. — Первый раз слышу...»

«Странно», — подумал я, а вслух сказал: «Это наш партнёр».

«А что на сцене происходит?»

«Я вам в антракте расскажу, ладно?»

В антракте я подсел к своему подопечному с программкой и принялся её переводить вслух. Знаешь, Вася, средняя политехническая школа, где английский с пятого класса, даёт весьма средний уровень иностранного языка. Потом эти «тысячи» в институте, у тебя тоже должны были быть, кандидатский минимум... Учился я, конечно, хорошо, но не до такой же степени, чтобы с листа переводить либретто балетов! Через несколько абзацев мне показалось, что сюжет знакомый. Ещё через несколько — что это «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, о чём я немедленно сообщил моим слушателям:

«Гю-го, Виктор Гю-го! Paris Cathedral Mother of God», но, похоже, понимания почти ни у кого не нашёл. Только клетчатый любезно улыбался и кивал, подсказывая слова: «Юго, Виктор Юго!»

Фраза «Она взошла на эшафот, держа в руках шарф любимого» повергла меня в ступор. Ага, эшафот — он и в Африке эшафот, это же французское слово, подумал я; наверное, весь мир знает. Любимого — легко! «Взошла» и «держала в руках» — тоже справились. Но шарф!

Тут клетчатый внял моим жестам, которые выражались во вращении правой рукой вокруг шеи (в левой я держал программку с либретто), и охотно подсказал: «Скарф!» Я был спасён и стал его благодарить. Потом обернулся и, к своему ужасу, обнаружил, что брат Буша с женой вдруг куда-то исчезли, как сквозь землю провалились. Я побежал их искать, настиг в фойе и повёл в партер показывать потолок и занавес, а затем в буфет, где из стеклянных трёхлитровых банок

наливали в кувшины, а потом переливали в тонкие стаканы и за рубли продавали сливовый сок с мякотью. Я купил три стакана тёмной густой жидкости — один для себя, страшно пить хотелось — и тут увидел широко улыбающегося клетчатого. Он спросил: «Что это?». «Слива» по-английски, если и была мне известна, то в далёком прошлом. Я нашёлся — протянул ему стакан и сказал: «Попробуйте и скажите мне». Он попробовал и сказал: «Оу, плам джус!»

И всё же этот клетчатый дико меня раздражал: он мешал мне общаться с братом президента Буша. Остальные две пары вели себя прилично и никуда не лезли. Но клетчатый наглед час от часу. После антракта он нахально уселся в первом ряду со своей уточкой да еще разулыбался!

Второй акт прошёл без приключений. «Икарус» ждал нас у подъезда, я провёл для группы маленькую экскурсию в районе Мариинского театра, рассказал по дороге про достопримечательности, про Юсуповский дворец и про то, как убили Распутина, попутно извинился за плохое состояние дорог, на что клетчатый сказал, что в Нью-Йорке дороги не лучше. Я не поверил, но виду не подал.

Прощаясь, уже возле гостиницы я всем раздал свои визитные карточки, всем, кроме клетчатого. Поделом ему! В последний момент мелькнула мысль: да кто он такой, чёрт подери, и что он всюду лезет? Клетчатый же был со мной особенно мил и попрощался очень тепло, даже по плечу похлопал.

На следующий день после театра встал поздно. Было воскресенье, мы с женой и детьми уселись завтракать, тещь с тещей были в своей комнате. Включили телевизор. В новостях из Москвы показывали развёрнутый сюжет о теннисе. Оказалось, что вместе с профессиональным турниром заодно проводится шуточный, «Большая шляпа», в котором принимают участие разные знаменитости. Брат президента Буша выступил в паре с американским послом против президента Бориса Ельцина и председателя федерации тенниса Шамяля Тарпищева.

Я бросился к телевизору и глазам своим не поверил! Против нашего Ельцина на корте стоит мой клетчатый! Вот, ока-

зывается, чему так радовался весь вечер мой клетчатый друг! Он всё понял! Его не узнали, а я выглядел форменным идиотом!

— Он догадался, что вы его не узнали? — спрашивает Вася.

— А ты как думаешь? Мне кажется, он упивался всей этой ситуацией. Чему бы иначе он так радовался? Балету «Эсмеральда» в постановке тысяча восемьсот сорок восьмого года? Или музыке композитора Цезаря Пуни, что ли?

— А кто это был, кого вы приняли за брата?

— Да пёс его знает кто — какой-то совершенно случайный человек, двойник может быть, я так и не узнал, своих визиток они не давали.

— А что с кредитом? Неужели, если бы вы его узнали, можно было бы кредит получить?

— Да нет, конечно, но шанс познакомиться с серьёзными людьми я тогда упустил. Чем чёрт не шутит, может быть, даже нефтью бы занялись, семья Бушей была как-то с этим связана, или ещё чем! Знаешь, тогда не было ничего невозможного. Просто я в тот момент оказался не готов и, как в анекдоте, лотерейного билета не купил.

Ника Стеценко

Никто не знает про Л.

Лина шла по залитой солнцем улице и гоняла от щеки к щеке обломки яблочного леденца. Постепенно кусочки лишились остроты, но звук, рождаемый их столкновением, всё ещё напоминал медленный проезд автомобиля по бутылочным осколкам.

Она шла и играла стёклышками, как прибором галькой. Слушала прибором и смотрела на улицу, дома, людей и редкие ещё травинки так, будто видела всё это впервые.

Вокруг был центр, такой безмятежный, каким он может быть первые пару часов после начала рабочего дня. И эта солнечная улица почти без людей, и стены домов, как будто только что из кондитерской — капучино-бисквит, имбирный, а вот и парочка пастельно-кремовых макарони... И так хорошо было идти, и так хотелось жить полно, и так неотступно уже пахло наступающим летом — прогретой пылью, тёплыми листьями сирени и предвкушением. Лина шла теперь почти вприпрыжку, не обращая внимания на развязавшийся шнурок левого кеда, а стороны улицы, чётная и нечётная, заигрывали друг с другом солнечными бликами стёкол.

Улица была ей хорошо знакома. Единственный маршрут, по которому родители отпускали девочку без сопровождения водителя. Почти год, с прошлого сентября, Лина ходила этой дорогой на занятия. Почти год, с прошлого сентября, они упорно называли встречи дочери с психотерапевтом занятиями.

Сегодня Лина шла на экзамен, не один из тех экзаменов, накануне которых наглатываются таблеток наговатые прогульщицы, — этот был для Лины гораздо важнее, но, в отличие от школьных, совсем её не тревожил.

Когда языку стало нечего перекачивать по ребристому своду нёба, девочка услышала, как почти вслух задаёт себе вопросы: «А что, если мой расчёт окажется неверным? Что если всё это время он знал? Что, если ждал именно последней встречи, чтобы выдать мне всё и отрезать путь?»

Она не могла показаться у профессора даже слегка встревоженной. Взглянула на запястье — часы с фотографией сложили стрелки в районе левого глаза. Время есть — и она свернула в подворотню. Прошла насквозь двор, потом налево, ещё один и оказалась на месте — там, где никто не догадался бы её искать. В заложенном пролёте подворотни курили студенты архитектурного. Она любила приходить сюда до или после встреч с доктором, смотреть, как они нервничают, как, ругаясь или с облегчением, обсуждают проекты, любила вдыхать их дым и читать их надписи на стенах. На левой от неё, оштукатуренной к началу года стене сентябрьским днём она процарапала буквы. Царапать пришлось бы долго, но помог дождь, размочивший стену и «вредные вещества в её голове», усилившие нажим.

Л+Д.

Каждый раз, когда она приходила, надписей становилось больше. Маркер, баллончик, стикеры с размашистыми буквами, красящие составы неясной природы. Но никто кроме неё не крошил извёстку шариковой ручкой. Наверное, времени не было. Время и вправду исчезало здесь, замирало и успокаивалось, будто обколотое лидокаином.

Сейчас она найдёт тот застывший крик на стене, погладит шершавые рубцы и вернёт себе уверенность.

«Только бы не покрасили, только бы не покрасили, только бы...» — шептала она свою мантру. Нашла. Не покрасили. Но вместо выверенного Л+Д уродливо извивалось трёхбуквенное LSD с жирной чёрной эс-как-доллар посередине. Лидокаин тут же перестал действовать. Лина дёрнулась всем телом.

Спустя шесть минут она стояла перед дверью с видеозвонком, а через одиннадцать слушала бархатистый голос profes-

сора, полужёжа в тёмно-зелёном кожаном кресле. Немного растягивая гласные, он сказал: «Вам нет необходимости слушать то, что я говорю», и она медленно стала слушать себя. Прохлада спинки и подлокотников... шашечки рельефа стяжки... нога немного болтается... ей удобно так висеть... профессор смотрит в записи... сигнализация за окном... одежда гладкая... глазам под веками тепло...

— Сеанс окончен, дорогая, — негромко, но настойчиво сказал голос. — Полежите ещё немного, если хотите.

— Теперь всё позади? — Лина слышала себя как будто из глубины ватного бокса.

— Верно, дорогая. Это было трудно, но мы справились. Вы — справились, — профессор ударил «вы».

— А мы ещё увидимся? — спросила с ожиданием.

— О, несомненно, — ответил с готовностью.

— Но когда же теперь? — встрепенулась.

— Как и договаривались с вашими родителями — осенью. После вашего возвращения с побережья, — мурлыкал профессорский голос.

— Но, доктор, ведь это ещё очень не скоро, — девочка тянула «о», подчёркивая своё нежелание ждать.

— Что ж, моя милая, зато у вашего глубинного «я» будет достаточно времени, чтобы усвоить терапию. Дадим нашим трудам принести плоды. А после, если вашим родителям и вам всё ещё будет необходимо, — мы обязательно продолжим наши встречи.

— Родителям? — Кажется, Лина по-настоящему удивилась. — Но, доктор, при чём здесь они?..

— Позволю себе напомнить, юная леди, что до тех пор, пока вам не исполнится восемнадцать, все решения, связанные с вашим здоровьем и жизнью, принимают именно они, — настаивал голос с щетиной.

— Решения о моей жизни... принимают они? — Лина ударила «моей» и «они». — А впрочем, да, вы, как всегда, правы... Но разве об этом речь? — она сорвалась с покладистости прилежной ученицы почти на крик. — Доктор! Теперь, когда курс

лечения окончен, нет больше рамок! Между нами нет больше рамок доктор — пациент, вы понимаете?!

Профессор сделал вид, что не придавал значения этой перемене.

— Конечно-конечно, милая, вы абсолютно правы, — размеренно мурлыкал он. — Вы, без сомнений, сможете обратиться ко мне в любой момент за дружеской консультацией. В любой, — он ударил «любой», — абсолютно любой момент, слышите?

— Но, доктор... — Лина пыталась отложить момент разставания.

— А сейчас, юная леди, вам лучше всего отправиться домой и немного порисовать. Это поднимет вам настроение и поможет настроиться на дивные морские каникулы.

— Значит, я еду?

— Вне всяких сомнений.

На мгновение всё замерло. Потом предметы резко взлетели вверх, а тишина больно ударила Лину, отпружинив от барабанных перепонок.

Как очутилась в своей комнате, она не помнила, и рядом не было никого, кто мог бы ответить. В тишине собственных мыслей отчётливо слышался шорох профессорского голоса — нужно немного порисовать.

Она подошла к письменному столу и достала из ящика деревянный пенал с выдвигающейся плоской крышкой. Щетинистые кисти с забрызганными ручками, пучок смотанных как хворост жёлтых карандашей, рифлёная деревянная стружка и волнующий запах растворителя, пропитавшего отрез клетчатой ткани.

Ни холст, ни картон доставать не стала. Вместо этого Лина отодвинула стул, села вплотную к столу и приосанилась. Вдох — выдох. Нагнулась и со всей силы потянула на себя ручку нижнего ящика. Там, в глубине, нащупала листы акварельной бумаги, приставшие к верхней стенке. Высыпала их на стол, разложила по гладкой стеклянной поверхности, стала перебирать, перетряхивать... Вот он! Среди вороха шерохова-

тых белёных листов — гладкий узкий прямоугольник голубовато-жёлтого цвета.

Ручек в доме не держали, карандашом писать не хотелось, и она выбрала акварельную кисточку. Лина не торопится, держит спину и с удовольствием наблюдает, как широкие поры бумаги медленно наполняются сиренью, впитывая окрашенную акварелью воду.

Она диктует себе, раскачивая в такт головой и кивая строчкам:

Здравствуй, любимый!

После нашей встречи прошлым летом прошло так много времени, а ты всё ещё не написал мне. Все эти девять месяцев мне приходилось являться к светилу психотерапии, быть паничкой и даже изобразить влюблённость в него. Всё для того, дорогой, чтобы родители и этот умник поверили, что лечение сработало. Сработало, и, значит, можно без опасений отпустить меня на каникулы к морю. Как в прошлом году, милый. Милый, — растягивая «и» усмехнулась она, — милый... Ты ведь тоже вспоминаешь это, правда? Просто у тебя совсем-совсем нет времени написать мне. Конечно, милый, я понимаю.

Ты сейчас в туре, и в этом году у тебя другой состав городов. Но я уверена, дорогой, тебе удастся выкроить пару дней и прилететь ко мне. Соври что-нибудь менеджеру. Я знаю, у тебя получится — ха, я видела сотню твоих интервью.

Нам снова будет так же хорошо, как в прошлом году. Помнишь? Мы случайно столкнулись за сценой, и я попросила сфотографировать нас, а ты приобнял меня — быстро-быстро, словно бежала по ступенькам вниз, говорила она. — Это было совсем не так, как ты обнимаешь фанаток, я-то знаю. Потом ты подмигнул мне и достал из заднего кармана своих узких джинсов клочок бумаги. Это был чек, ха-ха. На нём вместо автографа ты написал свой адрес, — здесь она прибежала.

Воздух замер, тишина уплотнилась, лидокаин снова работал. Лина взяла кисточку за алюминиевое горло.

Ты опоздал, — усилив нажим, написала она. Би гон стэй эвэй не скучай смотри футбол.

Не стала перечитывать, свернула лист и вложила его в конверт с давно выведенными буквами:

340 S Cloverdale Ave 201, Los Angeles, CA 90036
Jared J. Leto.

Никита Моисеенко

Взгляд, скользящий мимо

Катя скользила взглядом по вагону метро и не находила ничего для себя интересного. Напротив сидел умник в вязаной шапке и читал книгу. На обложке написано то ли «Веллер», то ли «Веллингтон» — она не разобрала. Умник... Наверное, целыми днями торчит в своем микроблоге и скорее всего — «в активном поиске». Точно — Катя увидела, как парень оторвался от чтения и сквозь очки измерил её аккуратным, одиноким взглядом. Она резко отвела глаза, в стекле поймала своё отражение, потом взглянула вниз на сумку фирмы «Пума» и ещё ниже на чёрно-белые кеды. Они показались ей увесистыми и нелепыми — шнурки заправлены внутрь, но одна верёвочка выбилась и собирает грязь.

Поезд проехал «Обухово». Катя полезла в сумку. Хотела достать плеер, но он затерялся среди служебных бумаг. Ей бросились в глаза две красные печати на заказных письмах. Так, судебные повестки. Целых две за один день. Она на мгновение задержала дыхание, а потом резко выдохнула. Подумаю об этом завтра. О, а вот и плеер!

До «Рыбацкого» оставалось пять минут, но она успеет послушать свою любимую песню. Если тихонько притопывать в такт, настроение может чуть-чуть улучшиться. «И настроение улучшилось!» — вспомнила она припев из какой-то композиции. Поискала взглядом: вдруг тут есть что-нибудь приятное. Но ничего приятного, как назло, не обнаруживалось. Слева от нее согнулся грузный мужчина. Может, спит, а может, пьяный. И то и другое, решила Катя. Тёмно-серый дутый пуховик, голова, почти прижатая к коленям, и торчащие из грязных рукавов красные, варёные руки. Наверное, вишню перебирал, пошутила она про себя и едва заметно улыбнулась.

Всё-таки женские пуховички ярче, интереснее и, в целом, пошиты со вкусом. Не то что эти ватные мешки, которые носят мужики. Больше всего Кате нравились курточки сноубордистов. Кстати, скоро выходные, и можно поехать на склоны.

Ее блуждающий взгляд снова остановился на умнике с книгой. «Валленштейн» в вязаной шапочке, да еще смотрит так бесяче! Она перевела взгляд направо, где, прислонившись к дверям, стоял азиат (Узбек? Киргиз? Таджик? — Катя не знала). Дальше мелькнул хромированный поручень и рядом — два парня. Одеты получше, чем умник с «Валленштейном», но все равно какие-то зажатые, жалкие. Она поймала взгляд одного из них — он показался ей робким и глупым.

«Станция метро “Рыбацкое”, не забывайте свои вещи в вагонах электропоезда!» «Пора покупать машину», — твердо решила Катя и поднялась со своего места. Рюкзак оказался открыт, и бумаги ровным белым потоком потекли на пол всем под ноги. Вот черт! Она нагнулась и принялась их собирать. Визитки, письма, отчеты. Музыка в наушниках вдруг сделалась противной. Катя увидела, как мощный спортивный ботинок наступил на заказное письмо. Потом мимо проковыляли чьи-то пьяные грузные ноги. Хоть бы помог кто... «Статисты сраные», — сквозь зубы прошипела Катя. Жалкое зрелище. Ей вдруг показалось, что этот предательски раскрывшийся рюкзак (надо будет выкинуть и купить новый) — предвестие неминуемой личной катастрофы. Что ей придется теперь всю жизнь перекладывать туда и обратно дурацкие бумажки.

Но вот в ушах заиграли знакомые мелодии, мягким дружеским голосом запел вокалист, и стало веселее. Она быстро оглядела пол и убедилась, что спасла все свои документы, и люди ещё выходили из вагона, а перед ней была спина того парня с глупыми глазами. Внезапно за окном что-то быстро промелькнуло. Показалось, что на перроне кто-то швырнул в поезд чёрную куртку и та упала между вагонами. Потом Катя поняла, что это человек. Человек? Скорее всего. Она осмотрелась. Люди всё так же спокойно шли мимо вагонов и спускались в переход. Вот полицейский остановил азиата и проверяет у него документы, пьяный мужчина достаёт из подкладки

пачку сигарет. «Причуда бокового зрения», — подумала Катя. Электронный звук в ушах стал ещё ритмичнее — это была та самая композиция, которую недавно она слышала в клубе. «Причуда бокового зрения». Надо зайти в универсам и купить торт «Причуда» или «Чудо-йогурт», — подумала Катя, и настроение улучшилось.

* * *

Иван Матвеевич вставил в замочную скважину ключ. Раздался приятный щелчок, оповестивший, что он дома. Когда-то этого щелчка хватало, чтобы к двери прибежали дети, а в прихожей появилась жена с ясным, жизнерадостным лицом. Сейчас дети сидели за игровой приставкой, а жена разговаривала по телефону. На него никто не обратил внимания.

Иван Матвеевич включил свет, разулся, повесил куртку, секунду постоял на месте и дважды покашлял в кулак. Ему всё ещё хотелось, чтобы кто-нибудь хотя бы поздоровался. Нет... Он вздохнул и прошёл на кухню. В раковине стояли три кружки с мокрыми чайными пакетиками. На столе — миска с пельменями. Он попробовал пальцем — остыли.

За окном раздались хлопки и посыпались яркие брызги. Значит, у кого-то праздник. Пока пельмени грелись в микроволновке, Иван Матвеевич наблюдал за яркими вспышками, гремевшими за стеклом. С первого этажа салюта почти не было видно.

Впереди два дня выходных, и он не знал, что делать. Почему-то вдруг именно сейчас хотелось исправить этот сломанный скучный день.

Вот и жена — подошла к раковине, ничего не сказав, как будто после ссоры. Раньше она была совсем другой — подвижной, что ли? Играла в студенческом театре, даже стихи сочиняла. Теперь у нее остались только письменный стол, бумаги и телефонные звонки. Последнее время она даже двигаться стала как-то скованно и безжизненно, будто кто-то стянул ей суставы крепкими гайками. И само имя Оля вдруг треснуло и распалось на два холодных механических звука: Оль-

Га. С таким звуком открывается дверь в наш дежурный пункт милиции на станции «Рыбацкое». «Ольга», — выдохнул Иван Матвеевич, будто не ожидая, что жена воспримет этот звук как обращение.

— Да, чего тебе?

— Я сегодня человека спас... Два часа назад, — решил удивить жену Иван Матвеевич.

(Молчание, звук льющейся из крана воды.)

— Парня, лет двадцати.

— Что случилось? — безразличным голосом спросила Оля.

— Под поезд бросился или упал. — Иван Матвеевич ожил, заложил руки за спину. — Я полез за ним — еле вытаскивал. В очках такой, дёрганный весь. Так бы из него нежная отбивная получилась. — Иван Матвеевич гулко засмеялся, но быстро остановился. — Думали на наркотики проверить, но не стали бяку делать. Теперь, может, премию дадут. Так-то. Давно ты, кстати, отбивную не готовила.

— Ладно... Детям только не рассказывай. У них и без того крыша едет от этой приставки...

Разговор закончился раньше, чем хотелось. Поужинав без аппетита, Иван Матвеевич сел за книгу в мягкой обложке.

Читая про женщину-оперативника, он слышал, как Ольга громко велела детям укладываться и они по одному пошли сначала в ванную, а потом в детскую. Когда в детской погас свет, он отложил книгу и медленно подошёл к двери. Ребята ещё не спали и о чём-то шептались. Иван Матвеевич зашёл в комнату и аккуратно сел в кресло. Дети испуганно притихли и замерли.

Иван Матвеевич обвёл пространство взглядом, принял задумчивый вид и заговорил таким голосом, каким обычно рассказывают сказки:

— Представляете, проверяю у мавра одного документы, смотрю — мальчишка на платформе, идёт вдоль поезда, а потом падает промеж вагонов.

Я побежал его спасать, залез под поезд, поднял и вытаскивал на перрон. Он стоит, от страха трясется, сопливый ещё. Так

бы бефстроганов из него получился, — Иван Матвеевич захихикал. Потроха бы сошли за говядину, сопли за сметану, — снова смех. А ещё томатная паста!

Дети улыбнулись и стали переглядываться.

— Прямо как Супермен! — прозвучал детский голосок после долго молчания. — Только он ещё банк от ограбления спас!

— Я и есть спортсмен! Только банки эти жидовские спасать не буду. Ладно, давайте на боковую, а я пойду делать дела, пражу пражсти.

Иван Матвеевич закрыл дверь, пошёл на кухню, закурил и продолжил читать детектив.

* * *

...Мысль женщины порхает между различными предметами, сквозит по их поверхности, чего не делает мужчина, который привык мыслить «в корень всех вещей»; она отвлекается, лакомится, осязает, но не схватывает истинной сущности предметов. Так как мышление женщины преимущественно протекает в форме своеобразного вкушения, самым выдающимся свойством женщины остается вкус. Вкус — исключительная принадлежность женщины. В его развитии она может достигнуть даже известной степени совершенства.

Коля отвлёкся от книги и ещё раз взглянул на девушку в сноубордистском комбинезоне. Она слегка поджала губы, моргнула и стала глядеть куда-то в сторону. Мигнул свет, высокий гул поезда затих до шипения, и за спиной Коли появился перрон станции «Обухово». Лучше спрятаться в чтение и не глазеть по сторонам.

Он прочитал ещё две страницы непростого текста. Когда мысль несколько раз подряд увильнула от строчки, он отвлёкся. Девушка уже была в наушниках, она слегка притопывала ногой в такт музыке. Движения были плавные, но слегка раздражённые. Рюкзак на её коленях покачивался в такт этим движениям.

Она поймала его взгляд и резко повернула голову в сторону. Коля увидел, что, похоже, ее больше интересует гастарбайтер. Он почувствовал огорчение, потом — накатившую злобу и снова нырнул в книгу, дав себе обещание, что больше никогда на неё не посмотрит.

Когда поезд подъезжал к «Рыбацкому», Коля уже стоял у дверей. Ему хотелось выйти раньше девушки, чтобы не пришлось плестись за ней следом и наблюдать её спину. Но на перроне он замешкался и снова задумался об Отто Вейнигере и о его самоубийстве. Коля развернулся и зачем-то пошёл обратно к поезду. Пространство между вагонами как-то странно притягивало к себе его взгляд, пугало и завораживало. Он представил, как диски колёс перемалывают его кости, услышал чавкающие звуки распадающегося на части тела, и дело было сделано — мысли о девушке безвозвратно ушли и перестали его тревожить.

Коля выдохнул, хотел развернуться, чтобы уйти, но вдруг почувствовал резкий толчок в спину.

Привиделось лето. Коля стоял с отцом на крыше гаража и поливал битумом листы рубероида. В глаза светил яркий свет солнца, ветер издавал завораживающий гул. Из яркого света вышла высокая фигура отца: «Ну что, Колька, уже нашел себе невесту?»

Отец взял чашу и опустил в ведро с горячим битумом — в нос ударил резкий запах смолы, — потом подошёл ближе, взмахнул рукой и вылил Коле на ногу «шшшшшшшш». Вязкая жидкость ползла по штанине и проникала в кроссовок, слизистую носа разъедало от смрада, во рту закопошился привкус серы, и Коля понял, что теряет сознание. Фигура отца растворилась в ярком свете, оставив за собой звенящий металлический звук.

Он очнулся.

Потерявшие очки глаза выхватили мутный квадрат жёлтого света и трубу, служившую границей этому квадрату. «Осторожно, двери закрываются» превратило эту трубу в два сомкнувшихся буфера, и Коля понял, что лежит где-то внизу между вагонами и что поезд сейчас тронется. Потом он ус-

лышал шипение и набирающий силу вой. Глаза зажмурились. Челюсть сжалась с неправдоподобной силой, и поезд поехал. Коля услышал свой стон, но почему-то ничего не произошло. Наверное, это отъехал другой поезд, тот, что стоял рядом. Коля сделал несколько судорожных движений, уперся куда-то ногами и оказался на гранитном полу перрона.

Какое-то время он лежал неподвижно. Ему не хотелось видеть этот поезд, этот перрон, этих визжащих рядом людей.

«Ты чего туда полез, щенок?! Поднимай давай своё сало!»

Коля поднялся на ноги. От накотившей слабости его шатало. В глазах плыло. Из жёлтого марева выплыла синяя фигура.

«А ну пошли!» — Не дождавшись ответа, полицейский схватил Колю за плечо и повёл в подземный переход. — Ты чего туда полез, а? В землю лечь решил? А нам за тобой говно вычищать?!»

Дрожь прошла. Коля шёл безразлично и случайно, удивляясь тому, что не находит в себе ни возмущения, ни протеста. Какая теперь разница, куда идти?

Впереди проплывал тяжёлый мужик с красными руками. Он ковылял нетрезвой походкой. Полицейский обратил на это внимание и сделал ему злой взгляд, который остался незамеченным. Может быть, он и толкнул Колю на рельсы? Это уже не имело значения.

В дежурном пункте полиции был липкий пол. Мимо Коли прошёл стареющий майор с пыльной кокардой и выругался в пустоту, даже не бросив взгляд на задержанного. Через пять минут усатый сержант вернул документы, а женщина в оранжевом жилете принесла очки с поломанной дужкой и вязаную шапку, после чего Коле сказали, что он «может быть свободным».

Добираться до дома пришлось, придерживая рукой оправу и смотря на Рыбацкое через линзу с глубокой трещиной. Вторая линза лопнула пополам.

Снег почти растаял. Фонари разрезали мокрый асфальт неровными полосами жёлто-зелёного цвета. Из старого депо, поскрипывая, выехал трамвай. Где-то в глубине промзоны

залаяли собаки. До дома идти недалеко: через аллею Славы, Шлиссельбургский проспект и футбольное поле.

Возле универсама Коля увидел ту самую девушку в розовой сноубордической курточке. Он даже испугался, хотя не мог понять почему. На плече у неё была кожаная сумочка, в руке торт «Причуда». Девушка напористой походкой шла в сторону Невы и, видимо, куда-то торопилась.

За дверью

Откуда-то снизу приближался звук, напоминающий барабанную дробь. Вслед за звуком вверх по лестничной клетке вбежала девочка. Она сняла рюкзачок, достала дневник в яркой глянцевой обложке, аккуратно вырвала страницу, скомкала её в небольшой шарик и положила в почерневшую консервную банку. Девочка стояла пару минут, тщательно листая дневник, потом пригладила волосы, забросила на плечо ранец и стала стучать в дверь квартиры. До звонка она не дотягивалась.

Ближе к вечеру, когда лестничный проём перестал освещаться солнцем, к окну подошла женщина. Она положила сумочку на исписанный подоконник, достала сотовый телефон и принялась удалять смс-сообщения. Когда женщина услышала, что динамик телефона пищит на весь парадный подъезд, она отключила звук. Тщательно просмотрев мобильный, женщина достала зеркальце, проверила выражение своего лица, улыбнулась самой себе и открыла дверь той же квартиры.

Через пять минут за дверью что-то разбилось. Звучал громкий женский голос. Потом вниз по лестнице усталым, но раздражённым шагом спустился мужчина. Примерно минуту он постоял у пожелтевшего окна, шлёпнул ладонью по раме и сделал пару шагов влево и вправо. Он смотрел куда-то вверх расфокусированным взглядом, а потом, вспомнив про сигареты, начал хлопать по карманам трико. Пачка оказалась в нагрудном кармане рубашки.

Мужчина ходил взад и вперёд, наблюдая за тем, как распускается клубок сигаретного дыма. Докурив до фильтра, он бросил окурочок в консервную банку и достал следующую сигарету.

Сквозь зарешеченное окно подъезда он смотрел на птиц. Они плыли по воздуху к размытым очертаниям горизонта.

Стало настолько тихо, что можно было услышать муху, кружащую над ним.

Алена Бесман

.....

Новая морда

Елизавета подошла к зеркалу. Лицо полностью скрыто бинтами. Потрогала повязки. Больно.

Еще немного потерпеть. Совсем чуть-чуть.

Длинная ночная сорочка скрывала вспученные вены старушечьих ног.

— Мумия в ночнушке, — хохотнула Елизавета и залезла на высокую больничную койку. Села, поболтала ногами. Легла, отвернулась к стене.

— Ну шо, горэ мое, — в палату ввалилась грузная тетка. В воздухе тут же распространился запах пота. На тумбочке появились кастрюльки, тарелочки, салфеточки, ложки, чашки, баночки, скляночки...

— Зоя, ты? — не поворачиваясь, Елизавета подняла руку в приветствии.

— Я, конэшно я. Кто еще х тебе припретси, как не я?

— Ох, Зоя, не кричи. Голова болит.

— Ха, ыщо бы! Голова у нее болит. Морду всю порэзала, а морда то хде? Известно хде. На голове! — Зоя подняла кверху указательный палец, замерла на несколько секунд с задумчивым выражением на лице. Вернулась к кастрюлькам: — Пожрать вот тебе принэсла. Пожри хоть, сердешная!

— Зоя! — Елизавета села на кровати. — Да сколько же можно! Не «пожри», а «покушай». Три года живешь в Москве, а говорить нормально не научилась!

— А шо мне учиться? — махнула рукой Зоя. — Не пятнадцать лет, шоб учиться. Да и Москва твоя — говно! Одни разговоры... Мои деуки, если б сюда не подались, сидела бы я на селе и в ус не дула. А теперь вот тута... возись ыщо с тобой, припадошной.

Со скучающим видом Елизавета смотрела в окно. Подобные разговоры стали для нее обыденностью за последние три года. С того момента, как троюродная сестра Зоя, которую Елизавета никогда не видела, позвонила в дверь ее квартиры. Дочери Зои жили в Москве, и после того, как умер муж, она решила «податься к диткам». «Дитки» селить мать к себе не спешили, и одинокая Елизавета милостиво разрешила Зое остаться в своей огромной неубранной квартире при условии, что Зоя будет вести хозяйство.

— Ты кой черт морду себе порезала?

С того дня, как Елизавета сняла накопленное на сбернижке и записалась в клинику пластических операций, Зоя не давала ей покоя.

— Да пойми ты, — вздохнула Елизавета. — Я стану снова молодой, красивой. Оденусь, покрашусь, пойду в суши-бар и встречу там Его! Настоящего... умного, смелого. Мы будем любить друг друга. Гулять. Слушать музыку. Читать. Вот оно — время любви! Наконец наступило, понимаешь?

— Понэмаю, понэмаю, — кивала Зоя и принималась хохотать. — У тебя уж любилка заросла. Любить она будет! Припадошная!

Елизавета не обращала внимания на Зоины выпады. Что может понимать необразованная деревенская баба в настоящих человеческих чувствах. У нее кроме кастрюль да «диток» ни в голове, ни в сердце больше ни-че-го.

— Елизавета Андреевна, — в палату вошел врач. — Будем снимать повязку. Вы готовы?

— Да, доктор! — Елизавета поднялась с кровати и подставила забинтованную голову.

— Не спешите, — улыбнулся врач. — Присядьте, пожалуйста.

Медленно, слой за слоем доктор начал снимать бинты. Зоя куда-то исчезла. Наконец последний кусок белой ткани упал на пол. Лицо доктора застыло.

— Быть не может!.. Как такое могло... — забормотал он и стал пятиться к двери.

Елизавета взяла со столика маленькое зеркальце, взглянула в него и вскрикнула точь-в-точь как Зоя:

— Что же это... батюшки! Доктор! Подождите!

Но доктор уже исчез в коридоре. Елизавета распахнула дверь палаты и застыла на пороге. За дверью была кромешная тьма. Она закричала и проснулась...

Потрогала лицо. Вроде в порядке. Елизавета встала с кровати и включила свет. В центре комнаты стоял стол, накрытый бархатной скатертью. На столе лежала пачка денег. Утром она отправится в клинику, деньги — на операцию.

Сначала она хотела сделать себе грудь, но Зоя сказала, что «большие титьки под морщинистой мордой — только шоб народ посмешить». На две операции денег не хватало, и Елизавета выбрала «морду». Снова станет молодой... или... Она вспомнила свой сон и вздрогнула...

Маленькое круглое зеркало лежало в том же месте, что и во сне. Елизавета взяла его и тут же отбросила. По ногам дуло. Она вернулась в кровать.

— Шо это ты подскочила ни свэт ни заря? — в комнату вошла Зоя. — То не разбудишь ее, то вскакивает, вот уж точно припадошная.

— Отстань, — вяло отозвалась Елизавета.

— Больно надо приставать. — Зоя села за стол и сложила большие руки на бархатной скатерти перед собой. — Я вот шо хотэла тебе сказать. Вчера с деуками моими встречались на «нетральной территории», — с трудом произнесла Зоя незнакомое словосочетание. — Так они, заразы, водили меня в твой этот... суши-бар... и че я тебе скажу... столовка, она и есть столовка. Никаких тама твоих мужиков настоящих да умных нету. Так шо не знаю, куда ты подашьсь с мордой новой, но тама тебе точно мужичонку нэ словить.

— Зой, — тихо позвала Елизавета. — Ты возьми деньги на столе. Возьми себе. Дочкам купи что-нибудь.

— Чегой-то ты удумала?

Зоя взяла деньги и медленно пересчитала.

— Не худо. Я таких дэньжищ и в руках-то не держала.

— Вот и поддержишь. Возьми.

Елизавета лежала неподвижно и смотрела в потолок.

— Страшно мне, Зойка, сон плохой приснился. После такого сна под нож не лягу.

— Ха, вот припадошная и есть, — Зоя хлопнула себя по толстым бокам, — сон какой-то. Да ежели я бы каждому сну верила... Ну-ка подымайся, поедем в больницу твою эту. Ыщо не хватало мэчту на деуок моих променивать. Вот уж точно припадошная. — Зоя поднялась, подошла к шкафу и стала доставать одежду Елизаветы. — Боишься морду резать — титьки делай, — приговаривала она.

— Да как же титьки? — Елизавета села на кровати. — Сама же говорила, что людям на смех.

— А ты меня и слушай. Я же профэссор, не иначе. Все обо всем знаю...

Елизавета прыснула.

— Одевайся, припадошная, — кинула в нее одеждой Зоя. — Пошла пожрать тэбе приготовлю.

«Покушать», — мысленно поправила Елизавета и стала натягивать свитер.

Женя Брик

.....

Квартира с окнами на Исаакий

В середине апреля я не выдержал. Сходил в интернет-кафе и написал Джул письмо. Сообщил, что с нового года в завязке и что невероятно скучаю.

«Приезжай, — писал я, — у меня есть наконец работа, а ещё начинаются белые ночи».

Мне было известно, чем можно завлечь Джул. И мне действительно её очень не хватало.

«Мы не будем ничего затевать сначала, — обещал я в конце письма, — мы всего лишь попробуем узнать друг друга заново. А главное — из окон моей съемной квартиры виден Исаакиевский собор».

По дороге домой я вспоминал нашу прежнюю жизнь вдвоём. Печальную улыбку Джул, её пахнущие карнавалом волосы и горькую карамель ключиц. Чтобы добиться уважения к себе, необходимо было всё это вернуть.

Ещё я очень рассчитывал на благоразумность Клавы. Надеялся, она не заявится ко мне на Конногвардейский во время очередного запоя. Не устроит скандала в присутствии Джул. Не разрушит моих глупых надежд.

За полтора года в Петербурге я достаточно изучил характер города. Его улыбки и протянутые руки теперь не вводили меня в заблуждение. Возможно, Питер просто презирал слабаков. Не хотел принимать очередного выпивоху, азартно уничтожающего самого себя. В этом город ничем не отличался от Джул.

У Клавы были манеры хорошо воспитанного дирижабля. До сближения с ней мне не нравились полные женщины. И хотя её первобытная тяга к эмоциональной стабильности конфликтовала с моей безалаберностью, мы стали жить вместе.

«Женщина похожа на еду, — убеждал я себя, приходя в квартиру Клавы на Гражданке, — её полезность намного важнее привлекательности».

Каждый вечер мы выпивали пару бутылок водки. Я — чтобы унять тоску. Клава — по давно укоренившейся привычке.

— Отчего мы не пьем ничего другого? — однажды поинтересовалась она. — Какой у тебя любимый напиток?

— «Адвокат», — печально отмахнулся я. — Но это пошло из другой жизни.

На самом деле я не любил яичного ликера. Его обожала Джул.

Укладывались около полуночи. Иногда случалась близость. Молчаливая сухая схватка, после которой хотелось выпить ещё.

Словно маленькая девочка, Клава просила рассказать ей что-нибудь перед сном.

— Пришла пора умирать одному древнегреческому царю, — зевая, начинал я. — И стал он искать среди родных человека, который согласился бы принять смерть вместо него. Существовал у него такой договор с богами.

— Вот подлец! — забрасывая на меня тяжелую ногу, вздыхала Клава.

— Отказались престарелые отец и мать, — я осторожно высвобождался от обременительного гнета, — отказались все. Согласилась только молодая жена. Она так любила мужа, что готова была отдать жизнь, чтобы он продолжал царствовать, растил их детей и всегда помнил о ней.

Клава засыпала, не дослушав истории до конца.

Изредка мы скандалили. Безо всякого повода, от скуки. Потом быстро мирились. Пили на брудершафт и ложились в постель.

У последней ссоры, случившейся перед Рождеством, не было серьезной причины. Просто мы невыносимо устали друг от друга.

После скандала я сидел в одиночестве на кухне. Пялился в телеящик, ждал, пока она уснет.

Клава не спала. Ждала меня, нескромно развалившись на мятой простыне. Голая, с загадочной улыбкой на круглом лице. Её соски были густо намазаны чем-то желтым. Как выяснилось, нидерландским яичным ликером.

— Жирная тупая корова! — не в силах сдержаться, в бешенстве закричал я.

Перепуганная Клава заплакала.

— Хотела сделать тебе сюрприз, — захлебываясь слезами, причитала она.

Джул приехала в начале июня. Я встречал её на вокзале.

Выходя из вагона, она всего лишь протянула руку.

Бывшая жена почти не изменилась. По-прежнему хрупкая, энергичная, с появившейся складочкой между бровей.

— Поедем или пройдемся? — поинтересовался я на привокзальной площади. — Если не спеша, идти нам около получаса.

— Конечно, прогуляемся. Город-то необыкновенный.

— Ничего особенного...

— Что ты ворчишь? — улыбнулась Джул. — Чем это он тебе не угодил?

— Достаточно того, что по ночам здесь не видно звезд.

Никуда не спеша, мы брели по Невскому. Я слушал болтовню бывшей жены и размышлял над тем, сколько нужно приложить усилий, чтобы расплавить чугунную плиту отчуждения.

Через неделю мне стало казаться, что двух лет разлуки не было.

Ранним утром я убежал на работу, оставляя Джул спящей. Дожидаясь меня, она гуляла по городу. Готовила еду, читала собранные мной книги. Их количества должно было хватить на полгода.

По вечерам мы слушали музыку. Какое-то старье с привезенных ею дисков. Жуткую мешанину из фанка молодого Бенсона и свинга виртуозного Картера.

Иногда выбирались в кино, но чаще всего — разговаривали.

— Ненавижу алкоголь, — с чувством воскликнула Джул в один из вечеров, — этого коварного и беспощадного убийцу, уничтожающего счастье!

— Никакой он не злодей, — ответил я. — Заурядный соучастник, не более. Мы сами убиваем себя.

По ночам у меня долго не получалось заснуть. Я лежал рядом с Джул и размышлял об ответственности. Порою вставал и выглядывал в окно. Искал в мрачном небе хоть одну звезду.

В сентябре меня выперли с работы. Увольнение объяснили кризисом, необходимостью выживать в изменившихся условиях.

Я ничего не сказал Джул. Не хотел в очередной раз испытывать судьбу.

Утром я бодро выбегал из дома. Мотался по беседам, звонил немногочисленным приятелям. Через месяц — просто спускался в метро и катался из одного конца ветки в другой. Вечером как ни в чем не бывало возвращался к Джул.

В конце дождливого октября все завершилось.

Голодный, промокший и злой я заскочил в гости к Клаве. Деньги стремительно заканчивались, а попросить в долг было больше не у кого.

За прошедшие месяцы Клава крепко сдала. Я разглядывал её опухшее лицо и думал о том, какой урок можно извлечь, наблюдая за чьей-либо гибелью.

Встретили меня радушно. Угостили чаем с медом. Предложили водки. Голова раскальвалась, однако пить я не стал. Попросил разрешения прикорнуть. Всего час, не более.

Когда я проснулся, Клавы не было. Последних оставшихся денег тоже. Солнце бодро заглядывало в окно.казалось, не было вчера никакого ливня.

Полтора десятка километров я покрыл за два часа. Сначала бежал, потом плюнул и пошел шагом.

Дома никого не было. Я сел в продавленное кресло и под бенсоновскую гитару принялся ждать Джул.

— Знаешь, моё пребывание в гостях затянулось, — первое, что сообщила бывшая жена, вернувшись. — Четыре с половиной месяца — большой срок.

Я ничего не отвечал. Сидел и внимательно разглядывал её, запоминая.

— Только что купила билет. — Джул чуть помолчала. — Мой поезд через час.

Повисло молчание. Говорить что-либо было глупо, я слишком хорошо знал Джул.

— Нужно продолжать жить, — через силу улыбнулась она. — Продолжать, несмотря ни на что.

— Что ж, ты приняла правильное решение, — только и смог выдавить я из себя.

Глубоко внутри, в загрудинной области, ожила и зашевелилась старая боль. Я встал и прошел в туалет. Плотно затворил за собой дверь.

Несколько дней назад в гастрономе на площади Труда я купил бутылку водки, которую спрятал в ящике для инструментов.

— Ну вот как можно иметь дело с последним лгуном? — доносился из коридора голос Джул. — Ты и сюда-то выманил меня обманом.

— Что такое ты говоришь? — не в силах сдержаться, выкрикнул я, отвинчивая у бутылки пробку.

— Можно подумать, не знаешь, — неожиданно заплакала Джул. — Из твоего окна не виден Исаакий.

Зачем, зачем

— Не понимаю, не понимаю, как можно предавать то хорошее, что у нас было!

Мы лежим с Лизой в спальне на нашей огромной кровати. Уже поздно. В окно таращится равнодушная луна. Работает телевизор, по нему показывают фильм, который я уже несколько раз видел.

— Ненавижу эту мерзавку, так и убила бы её. И откуда берутся подобные твари?

— Успокойся, — я глажу жену по голове, — и охота тебе заводиться на ночь глядя. Нам же только что было так хорошо.

— Скажи честно, — Лиза заглядывает мне в глаза, — ты меня любишь?

— А разве полчаса назад я это не доказал?

— Зачем, зачем тогда ты ходишь к ней? Чего тебе не хватает? — Лиза вот-вот расплчется. Я вздыхаю. Потом встаю и иду на кухню.

— Попробуй хоть раз поставить себя на моё место. — Жена тянется вслед за мной. — Ты и представить не можешь, как это больно.

— Выпьешь со мной? — спрашиваю я.

Она согласно кивает.

Я открываю холодильник. Достая масло, икру, хвост фаршированного осетра, консервированные артишоки и несколько соусов. Немного подумав, останавливаю выбор на бутылке водки, оставшейся после новогодних праздников. Лиза выкладывает на тарелку хлеб.

— Будем здоровы!

— За нас, — добавляет жена.

Мы молча закусываем. Отчего-то всё кажется по-особенному вкусным.

Я незаметно разглядываю жену. Она всё так же привлекательна, как и восемь лет назад, разве что прибавила несколько килограммов, но её это не портит. Лиза сидит в своем любимом кресле и изредка бросает на меня робкие взгляды. На нашей огромной кухне светло и уютно.

— Будешь ещё? — предлагаю я и, получив отрицательный ответ, наливаю только себе. Потом убираю бутылку обратно в холодильник и закуриваю.

— Ну давай возьмем ребенка из детского дома, разве я одна виновата в том, что не могу иметь детей? — Лиза вопросительно смотрит на меня.

— Мы уже сотню раз обсуждали эту тему...

— Эта сука забеременеет, и сразу же бросишь меня, как бросил свою первую жену.

— Не говори глупости, Лизок, — говорю я. — Кстати, тебе не кажется, что мы давно не были в театре?

Она по-девчоночьи улыбается, молодея при этом на несколько лет.

Я тушу сигарету и допиваю водку. Как рассказать жене, что «эта сука» уже на седьмом месяце?

— Завтра я выберу что-нибудь поинтереснее, — тараторит Лиза. — А в театр надену твое любимое голубое платье.

— Договорились, — соглашаюсь я, целуя макушку жены. — Иди спать, уже поздно.

— А ты?

— А я выкурю ещё одну сигарету.

Лиза покорно встает и уходит в ванную чистить зубы.

Я убираю со стола. Складываю грязные тарелки в раковину. Недолго поколебавшись, достаю из холодильника банку «Туборга».

На кухню заходит жена, и мы целуемся. Я желаю ей доброй ночи.

Кресло, в котором сидела Лиза, развернуто к окну. Я сажусь в него, беру пиво и закуриваю.

Сегодня после работы Настя закатила истерику.

— Вот зачем, зачем ты заставил меня оставить этого ребенка? — кричала она. Кричала так, что мне пришлось поднять в машине стекла. — Да и я хороша, дура набитая, и на что только надеялась!

— Ну хватит, Настюша, возьми себя в руки, — успокаивал я её, глядя по голове.

— Ты совсем меня не любишь, иначе давно бросил бы свою каргу.

— Не говори глупости, — одёрнул я секретаршу. — Ты же знаешь, как я тебя люблю. А теперь, когда ты вот-вот подаришь мне сына, и подавно.

— Я хочу в театр, — закапризничала Настя. — Поехали прямо сейчас.

После спектакля отвез любовницу домой. Она настояла, чтобы я зашел к ней. На скромной кухоньке Настя угощала меня бутербродами и растворимым кофе.

— Представь, как было бы замечательно, если бы ты приезжал сюда после работы, — вслух мечтала она, — а я ухаживала бы за тобой. Вот зачем, зачем тебе сегодня уходить?

Послушай, мы уже сто раз об этом говорили. — Чтобы не повысить голос, мне пришлось сделать над собой усилие. — Нужно просто немного подождать.

— Подождать чего и сколько?

Я ничего не ответил. Просто поцеловал её в затылок и вышел из квартиры.

Допиваю пиво, поднимаюсь из кресла и открываю форточку. В комнату врывается свежий воздух. На кухонных часах почти два ночи.

Я взбираюсь на табурет и начинаю шарить на антресолях. Где-то там должен валяться наградной пистолет Лизиного отца, умершего год назад. Я беру в руки оружие и внимательно разглядываю его. Металл приятно холодит ладонь.

Я извлекаю магазин с патронами и кладу его на стол. Сам занимаю прежнее место в кресле. Глядя на луну, помещаю ствол пистолета в рот. Закрываю глаза и медленно жму на курок.

Не знаю отчего, но последние несколько месяцев эта незатейливая игра с оружием здорово помогает мне. Необъяснимым образом сухой щелчок забирает из меня всё лишнее.

Я кладу пистолет на место и закрываю форточку.

В ванной ограничиваюсь тем, что мою руки и полощу рот.

В спальне с моей стороны кровати горит светильник, включенный заботливой женой.

Лиза спит. Она лежит на правом боку и хмурится во сне. Одеяло сползло на пол. Какое-то время я люблюсь знакомыми голыми очертаниями, а потом укрываю жену.

Телевизор продолжает работать. Фильм, который я видел несколько раз, приближается к развязке.

Я снимаю с себя всё и ныряю под одеяло. Обнимаю Лизу и прижимаюсь к ней. Осторожно, чтобы не разбудить, целую её плечи. Неожиданно чувствую, как накатывает желание.

Я отодвигаюсь от жены подальше. Выключаю телевизор.

Какое-то время размышляю, уставившись в потолок. Зачем, зачем я уговорил тогда Лизу сделать аборт? Ведь предупреждали же врачи. Но кто мог предположить, что все сложится именно так?

Я беру с прикроватной тумбочки первую попавшуюся книгу. Открываю наугад и начинаю читать.

Анатолий Вайнштейн

.....

Рождение

За неделю многое изменилось. Кто-то праздновал Песах, у кого-то появился сын, кто-то стал куратором большого культурного проекта. И ладно бы, но во всех случаях «кто-то» — это мой брат. Ему посвящаю и этот рассказ.

1. Дядя

Дяди — особая каста. Я этого раньше не замечал. Теперь мне кажется, что кардинал Ришелье и сэр Уолсингем были дядями. А Дональд Дак? А дядя Ваня? Кроме того, дядями зовут всю ту шушеру, которая навещает школу после выпускного. Но эти рядятся под дядь. Настоящий дядя — странное ощущение, ощущение, присущее казначею: что-то ценное рядом, но не твое.

Дядя: Поздравь меня, я теперь дядя.

Девушки: О, поздравляем! А что случилось?

2. Бабушка

Между бабушками и мамами — пропасть. Никому и в голову не придет, что мама может получать пенсию (зачем ей?!), а бабушка иметь детей (каких это?!). Переход от состояния «девушка» в состояние «мать» сложно проспать — какой уж тут сон. А переход «матери» в «бабушку» происходит в ничем не примечательный день, под какое-нибудь копанье грядок. Но все это не объясняет ту кардинальную разницу в ощущениях, которая, как тектонический разлом, образуется, чтобы никогда не зараста.

Бабушка: Не понимаю, почему в моей голове все прекрасно поется, а вслух выходит по-другому.

Дядя: Может, связки?

Бабушка: Связки? Ты считаешь? А почему тогда мотив другой?

3. Дедушка

Если у вас нет возможности завести кошку (аллергия), заведите дедушку. В этом возрасте мужик со всем согласен: если не дурак, то уже смирился с происходящим. Скажут: сядь туда — сядет. Скажут: ешь, старый пердун, — ест, пердит. С ними нужно аккуратнее. Непродолжительность жизни делает каждое их слово загадочным. Кажется, что и диалоги они ведут не с нами.

Бабушка: Чего разлегся?

Дедушка: Сейчас ночь.

Бабушка: Три часа дня.

Дедушка: Ну, не ночь.

4. Кошка

Казалось бы, в этой семье тебе ничто не угрожает — кому придет в голову дергать за хвост, выщипывать шерсть, прижимать к себе, будто ты тумба. Все же взрослые люди. Все понимают, что кошка имеет право на личное пространство. Что такое новорожденный, кошка даже не представляет. Капец ей.

Бабушка: Что за имя Авишай? Назовите тогда Бенья.

Родители: В честь кошки?

Дедушка: Бенья составил документ, по которому отказывается от имени и зовет себя Авишай. Он уже отзывается на Авишай.

5. Родители

4 кг живого веса притащил аист. По весу — бегемотик, по выражению лица — морской тюлень. По уму еще не ясно. Ка-

жется беззащитным, если бы не две груди: сильная мужская и теплая (ничего себе, как вымахала) женская.

Дядя: На тебя похож.

Папа: Это случайная фотка из Гугла.

6. Ребенок

Он родился весом 4 кг. В самый канун Песаха 14.04.14. Что он пытается нам этим сказать?

Екатерина Гесь

.....

If You Busy With Your Loneliness

Выкатившись из душевной парадной, я непроизвольно зажмурилась: девственно белый снег слепил глаза. Он притягивал и пугал своей чистотой.

Что-то наподобие счастья зрело в моей душе. Что-то торжествующее и тихое одновременно. В очередной раз, бесшумно проходя через ворох кишачих мыслей, я поймала себя на том, что впервые в жизни захмелела от одиночества. Это редкое состояние, которое зачастую невозможно удержать, не поддаться желанию впасть в чью-либо зависимость. Женщина слаба. Не верьте ей, когда она говорит вам «нет», и не верьте ей, когда она говорит вам «да». Всегда есть что-то большое, что заставляет вас любить её или ненавидеть. Любовь глупа. Ею не управляет воля. Попытка найти компромисс превратит вас в запуганное животное, ищущее любой возможности получить свою долю тепла и внимания.

Он стоял посреди тротуара и что-то быстро записывал в блокнот. Впрочем, не составляло никакого труда обойти его. Но что-то буркнуло в ней:

— Позвольте?

— Простите, — отошел он, не отрывая глаз от блокнота.

— Спасибо. И собачку себе заведите, чтобы ворон отгоняла, — сказала она.

Он посмотрел на нее.

— А утопиться — это хорошая идея, но надо сделать поумному, — добавил он. Достал свой блокнот и сделал ей предложение.

Жадно вдыхаю весенний утренний воздух, холодный, чуть-чуть пропитанный ночным морозом. Вдох, глубокий вдох, еще вдох. Хо-ро-шо. Живительная свежесть проникает в мозг. Всеми клетками серого вещества чувствую, как действует на них эта утренняя ванна. Все становится на свои места. Друзья, цели, приоритеты, правда, отношение к себе и близким. Злое меня больше не трогает. Заранее прощаю всю злость и жестокость. Копание в самом себе — удел слабых. Любить жизнь такую, какая она есть, — вот сила. Наверное, я становлюсь чистой и просветленной. Смешно, конечно, но это аутотренинг. Хороший добрый человек научил меня просыпаться и, независимо от настроения, улыбаться. Вот и я иду на работу и улыбаюсь. Я рада. Чему — не знаю. Особо нечему. Наверное, новому дню. А когда мне грустно, я танцую краков-вяк-вяк-вяк.

Потеряв веру, солнце садится за горизонт

Когда девушки совмещают литературу и виски, кончается это, как правило, плохо.

Сюжет вертится вокруг вымысла-невмысла, воспоминания-фантазии, исповеди-вранья.

Невероятная сумятица мыслей и чувств, к которым я не посмела бы прикоснуться и рядом с которыми литературы стыжусь.

Мы сидели на широком подоконнике, какие бывают в старых зданиях, и курили. За окном был холодный мартовский день. Набережная реки Фонтанки, как всегда, кишела машинами и спешащими по делам людьми.

Серый пейзаж оживила хрупкая фигура молодой женщины. Без пальто, в платье и туфлях не по погоде. Женщина спустилась по гранитным ступенькам набережной, вышла на тонкий мартовский лед, сняла туфли и шагнула в воду.

Все происходящее за окном длилось не больше четырех минут. Сигареты тлели, мы молча курили.

— Как вам такой сюжет? — Он протянул ей блокнот. Она торопливо пробежалась глазами и констатировала:
— Сюжета нет, героя тоже. Скучно...
— А туфли? Вы понимаете, что она перед тем, как шагнуть, сняла туфли. Зачем?
— Машинально. Вы бы лучше записку ей в руки вложили или письмо с интригой, понимаете?!

Ну, здравствуй. Давно собиралась написать тебе письмо, но все что-то мешало. Малодушие.

Я живу мирно, не курю, не пью. Часто думаю о тебе, и мне тебя очень не хватает. Часто в те редкие минуты, когда ты появляешься, мне не до тебя. После жалею, что не удержала тебя. Так сильно я нуждаюсь в тебе. Ты думаешь, это зависимость? Не совсем так. Моя собака настолько привязана ко мне, что любая другая психологическая зависимость просто пффф... мыльный пузырь... оптический обман. Поверь, мне есть с кем (кем) сравнивать.

В минуты слабости я читаю книжки и вспоминаю, как нам было хорошо с тобой.

Мне без тебя так неуютно, что я даже полюбила заниматься домашними делами. Для меня это приобрело оттенок психотерапевтического акта. Во-первых, сразу результат налицо: ровный строй вымытых тарелок и стаканов. Во-вторых, ты любишь возвращаться, когда порядок.

Дорогое мое Одиночество, я очень, очень тебя люблю...

Надеюсь на твое великодушие.

Твоя Л.

Краденые слова

У меня в кейсе две априори успешных бизнес-модели: свингер-клуб и похоронное бюро. Но понимания нет. Зато есть история из краденых слов без эмоций и оценочных прилагательных, плюс несколько многоточий на совести.

Я ждал Алевтину у ограды Домжура на Никитском: фляжка виски, билеты в кино и пара ночей до ее отлета в двухнедельный отпуск.

Аля переулками торопилась с работы. На Малой Бронной из подворотни выскочила собака, вцепилась зубами в Алино бедро, подергала и убежала обратно.

«Показывай».

Аля подхватила ткань длинной юбки и поставила ногу на камень ограды. Я плеснул на синяк виски.

«Щиплет. Похвали бабочек на юбке».

Прохожие аккуратно нас обходили. Виски капал на асфальт.

Я похвалил бабочек. Мы пошли смотреть «Пену дней».

Потом были нервы и страхи. Ироничные врачи в травмпункте. Перспектива уколов.

«Найдите собаку. Не сдохнет за неделю — значит, все в порядке».

Назавтра Аля с коллегами искала собаку. Но собаку никто не видел. Делать вакцинацию решили после отпуска.

Две недели: смс-ки, два процента заряда на телефоне, посадили Навального, на Моховой хорошие лица, Дума расписана фломастерами, омон охраняет надпись «Путин — гей». Зашел там же в «Зару». Купил льняной пиджак, вернулся к протесту, выпил кофе в Камергерском. Поехал домой к Але.

На Белорусской разогнали к ночи всех старушек с цветами. Нашел ромашки на Грузинском. Поставил в вазу на полу у кровати. Уснул...

Проснулся от грохота падающего в коридоре чемодана и треска сдираемых джинсов.

«У тебя выгорели волосы».

Погода испортилась. Ветер, волны дождя в открытые окна балкона. Узкие тропинки среди разбросанных вещей на полу.

Грелись ромом и не могли напиться.

Откладывали травмпункт. Ждали, когда прояснится небо. Жалко убивать пиджак, куртки не взял...

К вечеру воскресенья дождь так и не прошел. Стемнело. Собрались на уколы.

«Давай все же попробуем найти собаку».

Дворы, переулки, фонари, дождь, лужи, фары машин, дворники, охранники, продавцы, консьержки, домофоны, ограды, заборы, редкие собачники. пьяные обитатели.

Через три часа мы нашли собаку.

Собака не сдохла. Лежала на площадке второго этажа, привязанная поводком к дверной ручке. Собаку не пускали жить домой. Она вжималась спиной в дверь и рычала.

Мы смотрели на собаку.

Не хотелось скандала, мести, ничего. Выглянули соседи и хозяйка в красном халате.

«А это не моя собака. Я за нее не отвечаю».

Мы развернулись и вышли на улицу.

Аля прижалась спиной к стене. Я обнял ее. Она плакала.

«Пойдем домой. Там еще ром, отметим».

Зашли в «Друзья», те закрывались. Купили большое шоколадное пирожное. Шли под ломким белым зонтом. В ботинках хлюпала вода. На повороте в Палашевский я тихо и ясно понял, что сейчас счастлив.

Елена Бугмырина

.....

Ниточка

Анечка сидела на скамейке, впитывая первое мартовское солнце, и катала в ладони шерстяные ниточки, бездумно выуженные из кармана дачного пальто.

Пахло талым снегом и мокрыми деревьями.

Анечка раздумывала, как бы так сэкономить, чтобы купить те аккуратные кремовые лодочки, похожие на заварные пирожные, от которых сердце ее замирало и падало так же, как когда она была влюблена в этого дурацкого Костю. Но здесь Анечка была застрахована от разочарований, ведь она уже их даже померила, они были не только безупречны снаружи, но и удобны, как домашние тапочки.

Мысль о заварных лодочках спутывалась с шерстяными ниточками, и Анечка задремала.

Солнце пушистой бархоткой проводило по старому, примятому временем дому, щедро золотя все, к чему прилипало, рассыпчатой легкой пудрой. Особенно здорово получалось с Анечкиной челкой и старым рыжим котом Барсиком, страдающим ревматизмом и легким расстройством психики.

Пока Анечка дремала, подсознание сложа руки не сидело и выварило ей густое консоме из жидкого бульона ее мыслей.

Проснувшись, Анечка уже знала, что если она не будет обедать всего месяц, то как раз скопит недостающие для счастья пять тысяч рублей. Тютелька в тютельку.

Похудею заодно, подбодрила себя она, любившая поесть и не знающая, что такое диета. Буду кефирчики пить, из дома что-нибудь принесу, печенюшек, сушек там, не умру, в общем.

Ну и конечно Анечка не умерла. Похудела, да, но не умерла.

Жизнь без обедов оказалась совершенно другой, лишенной радости и смысла, но Анечка не сдавалась. Потому что счастье было рядом, и счастье могло стать реальным.

Месяц по ощущениям длился полгода.

Наконец одним солнечным апрельским утром Анечка взяла выходной и побежала, перепрыгивая лужи, к магазину ровно к открытию.

Там она замерла у витрины как подстреленная — лодочек не было. Согнувшись как от удара под дых, Анечка ощутила в животе скребущие когти начинающегося гастрита, а в сердце — чудовищную брешь от разбитой вдребезги любви.

Все же она была отважная девочка и решила идти до конца.

Она вошла в магазин и во всех подробностях узнала, с кем и когда ей изменили кремовые лодочки. Под конец она выяснила, что новых поставок не будет. Никогда. Эту коллекцию больше не выпускают.

Анечка долго стояла молча, прижав к груди сумочку, и хотела было уже повернуться, чтобы уйти восвояси, как вдруг совершенно неожиданно для самой себя прищурилась на ярко-желтые мужские ботинки с совершенно неподходящим для нее характером и потребовала «вот такие» сорок пятого размера, уточнив при этом, как за ними ухаживать, ведь замша, как известно, требует особенного ухода, особенно в нашем суровом и несправедливом климате.

Анечка вышла на улицу с большим тяжелым ненужным пакетом и вдруг осознала, что сегодня ей все еще не на что пообедать. И тут она расплакалась, размоталась книзу пушистой ниточкой. Так и стояла посреди улицы, глупая и совсем несчастная.

И когда наконец решила идти, то не смогла сдвинуться с места оттого, что сорок пятый размер мужских ботинок основательно заземлил ее необедавшее тело, да и куда его волочить, если дома ее не ждет никакой мужчина не то что с сорок пятым, но даже с сорок вторым размером ноги.

Анечка посмотрела по сторонам и подошла к первому попавшемуся мужчине, который как раз остановился, чтобы закурить.

— Вот, — сказала Анечка, протянув ему пакет, — это вам. Надеюсь, вам понравится, потому что я месяц не обедала, чтобы купить их. У вас, кстати, какой размер?

— Сорок пятый, — ответил мужчина.

И тут Анечка в первый раз подняла на него глаза, так чтобы хорошенько рассмотреть.

А он стоял и улыбался, и солнце грело не по-весеннему жарко.

Анечка нащупала в кармане шерстяную ниточку и завязала узелок.

Уроки французского

У Франца болела голова с самого утра. Никаких таблеток он с собой в Париж не привез, а аптеки еще были закрыты, когда он ехал на курсы.

Занятия длились бесконечно, Франц зевал и держался за голову.

В группе кроме него был один блеклый испанец, кажется, из Мадрида и две русские девицы; имен он за неделю не запомнил, про себя называл одну Наташа, но ее точно звали как-то по-другому, а другую, мелкую, лет семнадцати, Выскочкой.

Выскочка всегда все знала, и не успевал Франц хорошенько обдумать вопрос, как она уже лезла отвечать вперед всех.

Наташа была вообще неприятная, ни на кого не обращала внимания, думала что-то себе под нос все время и воображала.

«Тоже мне нашлась», — раздражался Франц. Хотелось ее ударить, задрать юбку и много чего еще, о чем Франц подробно думал по вечерам, после разогретой пиццы и упорядоченных в тетрадке французских глаголов.

Франц долго учил французский, знал много слов, правильно строил фразы, но, как оказалось, в Париже его никто не понимал. Немецкий акцент изменял до неузнаваемости французские слова, и его даже несколько раз переспрашивали, на каком все-таки языке он говорит.

Франц злился, но упорно не переходил на английский, он был упрямый.

Сегодня тема обсуждения была «Счастье».

Это просто, обрадовался Франц и рассказал, что, конечно, счастье — это когда живешь у моря в собственном доме, когда много денег и не надо работать, про себя еще подумал, что баб еще было бы здорово трахать каждый день новых, чтоб модельные такие, типа этой Наташки, тогда бы она уже на него по-другому смотрела, сучка.

Парень, который из Мадрида, сказал, что счастье для каждого свое, что счастье, когда есть здоровье, когда нет войны и когда никто не голодает.

Выскочка долго петляла сложными фразами, употребляя всевозможные сослагательные наклонения, чтоб наконец мы узнали, что для нее счастье выйти замуж и нарожать детей.

«Но как Наташка выпендрилась, — Франц вечером рассказывал своему другу Томасу по скайпу, — пальчиком водит по столу, глаза, как обычно, провалила в себя, вобла долбаная, и выдает, мол, счастье — это она не уверена, что такое, и, может, это вообще не про деньги, комфорт и погоду тра-та-та, ну эта-то песня известная.

А дальше говорит, прикинь, — я вообще не уверена, что война — это так плохо для мужчины, может быть, мужчина чувствовал бы себя более счастливым и исполненным, если бы был воином и сражался, а не по офисам сидел и языковым курсам.

Ну, мы с мадридским парнем просто охренели.

Он такой: Ну спасибо.

А она: Да, если вы счастливы своей жизнью, то и зачем обижаться, я так просто подумала.

Я в шоке, ты прикинь, ведь долбанутая на всю голову, на всю свою тупую головешку».

* * *

Франц лег спать пораньше, долго по-разному представляя себе Наташку и наконец умиротворенно заснул.

И приснился ему сон, как будто он в незнакомом ему месте. Сидит у костра. Ночь. Но не темно. Яркая луна подсвечивает комки быстро плывущих по небу облаков, и по земле ходят тени. Почему-то все это выглядит очень торжественно и как будто наполнено изнутри неслышной, но громкой музыкой. И тут Франц вспоминает, что завтра битва, что завтра страшная битва. Рука сама проверяет, на месте ли меч, и, успокоившись, ложится на железный наколенник. Франц вспоминает, что еще не снял доспехи. Он закрывает глаза. Чувствует, как мир вокруг него опасен и велик и что он сродни этому миру, как сродни миру вот эта скала и вековые деревья-великаны. И силы в него стекаются из всего сущего: из текучей луны, из шорохов, из порывов ветра.

За холмом слышится крик то ли зверя, то ли птицы. Франц открывает глаза и почему-то видит перед собой Наташку с распущенными по плечам волосами и в длинном платье, подвязанном веревкой. Наташка смотрит Францу в глаза долго-долго, и он вдруг догадывается: это моя жена, и зовут ее на самом деле Ольга.

Как мог он забыть? От нахлынувшей радости он хочет ей рассказать, посмеяться над этим, но внезапно вспоминает, что надо говорить по-французски. Он путается в словах, не может закончить ни одного предложения; фразы сплетаются в тяжелые узлы, Франц чувствует, что с каждой секундой слабеет; он роняет меч и вдруг слышит противный голос Выскочки: «Да нет же, это *plus-que-parfait*», — ведь это было до того, как он заснул, или даже «*plus-que-parfait du subjonctif*», потому что неизвестно, было ли это на самом деле.

Дмитрий Февраль

L'internationale

В темноте парадной кто-то стоял. Услышав мои шаги по лестнице, черная фигура отделилась от стены, задвигалась, и солнечный луч, еле пролезающий сквозь рыжее от грязи стекло фрамуги, высветил глянцевый блеск козырька фуражки.

— Извините, я могу выйти? — пришлось спросить мне стоящего в дверном проеме полицейского.

— Зачем? — зашевелилась, зашуршала, поворачиваясь желтыми пуговицами ко мне, темная фигура.

— Покурить, — честно ответил я.

— Курите здесь, — неопределенно махнул рукавом с нашивкой полицейский.

— А как же закон? — ляпнул я и осекся, но ответа не последовало.

Я уже развернулся, чтобы уйти от греха и человека в синей форме подальше, как он меня окликнул:

— У вас лишней сигареты не будет?

Повернувшись, я показал зажатую в пальцах сигарету:

— Только одна.

Полицейский снял фуражку, и я увидел его лицо. Интересно, сколько ему? Двадцать три — двадцать четыре года? Возможно, еще курсант или просто недавно выпустился и поступил на службу. Никогда не разбирался в звездах, погонах, нашивках, хотя помню, как зарисовывал в тетрадь все эти значки и палочки на уроке ОБЖ. Весь его вид говорил о том, как ему здесь скучно и неинтересно. Но может, на самом деле это его первое задание, и поэтому он от волнения забыл сигареты?

— В следующий раз захвачу с собой пачку, — зачем-то пообещал я.

— Спасибо, — сказал он, положил свободную ладонь себе на шею и запрокинул голову, уставившись на темные узоры на потолке — следы забав с горящими спичками.

«Тха, московский полицейский обращается на “вы” к питерскому букинисту. У нас разница-то лет в пять», — подумал я, поднимаясь обратно.

Я дошел до своего этажа, закурил и облокотился на усыпанный пеплом подоконник. За пыльным окном медленно и неизбежно заполняла аллею пестрая река митингующих демонстрантов — людей, которые собираются в огромную стаю с надеждой напугать одним своим видом правительство — людей, которые на них никогда не смотрят. Каждый из этих демонстрантов нашел в себе что-то такое потайное или, наоборот, не задумываясь, взял первое попавшееся, поверхностное, оформил это в бумагу, флаг, транспарант и гордо поднял над своей головой. Сверху все это выглядело укутавшим улицу лоскутным одеялом из белых, желтых, черных и неизменно-красных клочков ткани. А доносящиеся глухие лозунги, искаженные обычным шумом толпы и двойным стеклом в старой деревянной раме, казались бормотанием спящего.

Докуренная до фильтра сигарета обожгла пальцы. Не погасив — порезанный мизинец до сих пор дергает, — я бросил окурочек в стоящую рядом железную банку. Когда в первый раз вышел на перекур, мне показалось совестно бросать в нее окурочек. Мелкие и острые, как клыки акулы, только вывернутые наружу из плоской пасти, следы от старого разнорогого консервного ножа окружали банку неким ореолом арт-объекта. И даже оставленная полоска от жестяной крышки в сантиметр шириной, о которую так удобно притаптывать хабарик, казалась сознательной задумкой, а не последствием дрогнувшей руки «автора».

Свой окурочек я тогда выкинул в открытую форточку, считав и запомнив количество уже оставленных в банке. В следующий раз насчитал на один больше.

Я вернулся в квартиру-хостел. В гостиной все та же, ставшая привычной за эти два дня, картина: под полками с различными безделицами на бежевом диванчике, склонившись

над журнальным столиком с ноутбуком, сидит иностранец лет пятидесяти. Из какой он страны, я не знал, слышал только, как он разговаривал с администраторшей на скверном (не лучше моего) английском. Внешне же в своей белой майке и темных спортивных штанах он напоминал мне какого-нибудь соседа алкаша дядю Васю Золотые Руки.

— Excuse me... — обратился он ко мне, когда я уже подошел к двери в номер и взялся за ручку.

— One moment, — сказала я и для понятливости сопроводил ответ выставленным перед собой указательным пальцем, затем открыл дверь и вошел в комнату.

Присев на кровать, я тихо позвал: «Эй, детка, вставай». И, легонько коснувшись высунувшегося из-под одеяла голого с сине-зеленым иероглифом плеча, добавил: «Так и смену власти проспичь». Повернувшись ко мне с зажмуренными глазами, Дара спросила: «Уже?» — и, не дожидаясь ответа, открыла один глаз — солёная капля дремотной росы поднялась на ресницах вверх и поползла, придерживаясь века, вниз по дуге. Дара откинула одеяло, взяла одежду со спинки стула, ментально натянула джинсы и футболку, встала на кровати, быстро чмокнула меня в щеку — я даже не успел сообразить, кто именно из нас колется трехдневной щетиной, — спрыгнула на пол и, потянув за собой с тумбочки ремень фотоаппарата, убежала.

Я остался один в номере — маленькой комнатке, где почти всю площадь занимала двуспальная кровать, да в углу рядом с дверью ютилась тумба с тремя маленькими ящиками и деревянный стул. Всё, чем здесь можно было заняться в одиночку, это разлечься вдоль кровати и играть со стеной в мячик. Но мячика у меня с собой не было.

Я вспомнил про иностранца и вернулся в гостиную.

— Чем могу помочь? — выдал я стандартную фразу из русско-английского разговорника и прислонился к книжному шкафу. Какой-то том, недовольный подобной фамильярностью, больно впился мне корешком под лопатку.

— Что там за шум на улице? Что происходит? — иностранец оторвал взгляд от своего ноутбука и посмотрел на меня.

Его глаза за линзами очков бегали из стороны в сторону, словно продолжали искать на мне панель меню или какие-нибудь гиперссылки, по которым он смог бы добраться до нужного ответа.

— Просто люди. Митинг, демонстрация, — как можно спокойнее ответил я.

— И против чего они?

— Не знаю. Как обычно. Политика.

— Против Путина?

Ответить «да» было бы слишком просто и к тому же не совсем верно. Я задумался. Как мне ответить, как сформулировать, как собрать воедино все то, что я знаю о политике, и в частности о Путине? Увидев мое замешательство, гость нашей страны подошел к дивану, достал из-под столика дополнительную клавиатуру с кириллицей (видимо, кто-то из администраторов принес) и протянул ее мне. Положив клавиатуру на колени, я сел рядом. Он развернул ноутбук так, чтобы мы оба могли заглядывать в экран. Таким образом наше общение перешло в онлайн-переводчик. Не могу сказать, что это сильно облегчило мне задачу. Если до этого к своей мысли я долго искал в памяти английские слова, то теперь ее нужно было облекать в очень простые фразы на русском.

Я положил пальцы на клавиатуру.

— Против него тоже. Против власти. Против всего. Вечно недовольны. Но всегда есть повод, — напечатал я ответ. Иностранец защелкал клавишами на ноутбуке, и на экране одна за другой стали появляться знакомые буквы с непривычными палками-черточками поверх. И тут до меня дошло — это же французский! Боги, он — француз. Рядом со мной в трениках и майке сидит француз! Я посмотрел на него еще раз — овальное лицо, покрасневшая от духоты кожа, поседевшие волосы подстрижены отрегулированной на самый минимум машинкой, дряблые щеки чисто выбриты, кончик крупного носа почти касается верхней губы, серые, почти прозрачные маленькие глаза прячутся за стеклами очков, — да он больше на немца похож, недоумевал я. Какой из него француз?

Эту информацию захотелось тотчас же перекурить, но было бы невежливо прервать едва начавшийся онлайн-диалог, на котором меня уже ждало сообщение:

— У нас в Европе много говорят и пишут о Путине. Говорят, у вас, у русских, нет демократии.

— Это не так. Кто-то говорит одно. Есть демократия. Кто-то говорит другое. Нет демократии. Все из-за недовольства. — Я все еще пытался поверить в то, что мой собеседник — француз. Мои пальцы только со второго или третьего раза попадали на нужные клавиши.

— Вы, русские, тоже не любите Путина? Почему?

Набирая ответ, я отвлекся на шум за окном. Выкрики демонстрантов по-прежнему наслаивались друг на друга, смешивались, но я смог точно разобрать такие лозунги, как: «Сто сорок шесть процентов позора!», «Путин — вор!», и еще парочку других, которыми за полгода успела забиться моя голова благодаря Интернету, телевидению, разговорам в компаниях. И почему во всем мире только и разговоров что о политике?

— Никто не любит своих президентов. Свое начальство, — ответил я. — Президентов всегда есть повод не любить. Просто потому, что выше. Потому что президент.

— Да. Мы тоже не любим своего президента. Но у нас есть свобода. У вас есть свобода в стране? Вас все устраивает?

— Меня многое не устраивает. Но я обычный человек. Могло быть хуже. Могло быть лучше.

— А почему вы не с ними?

— На митинге?

— Да.

— Мне это не интересно. Я не вижу в этом смысла. К тому же я из другого города.

— То есть у вас могут быть проблемы из-за митинга? Бойтесь последствий за свое мнение?

Я стал уставать от этого разговора. Сменить тему, наверное, можно было, вот только на какую? Достоевский? Генсбур? «Аватар»? «Да. Читал. Слышал. Не смотрел. Понравилось. Не понравилось». Вот только толпа за окном будет волновать иностранца сильнее, и через одно-два предложения любя

другая тема зайдет в тупик. А закончить разговор и просто шарахаться друг от друга в пустом хостеле, куда до окончания демонстрации вряд ли кто-то придет, тоже не хотелось. Да и любопытно это — пообщаться с иностранцем. Какой смысл останавливаться в хостеле, если избегать общения? Тогда уж лучше поселиться в гостинице, снять квартиру или арендовать коттедж и, закрывая дверь, отгораживаться от мира. Хостел — самое неподходящее место для затворничества. Но зато в нем можно смело отбросить такую условность, как незнание языка, чтобы пойти на контакт.

— Я не про это. Я не знаю, о чем митинг, какой повод. Меня пугают возможные столкновения с полицией. Там, где много людей, это неизбежно. Думаю, у вас так же.

Я смотрел, как француз читает. Надеялся увидеть, как именно буквы, проходя сквозь линзы и зрачки, укладываются в его сознании, — я уверен в том, что написал, но совершенно не уверен в том, что прочитал он, — трудности перевода.

Француз немного поморщился, поправил съехавшие очки:

— Это беспорядки. Необязательно участвовать в них. У нас нет такого, что нельзя говорить свое мнение.

— У нас тоже нет. Но найдутся те, кто скажет, что — нельзя. Также, я уверен, найдутся те, кто скажет, что и у вас — нельзя.

— Нет. У нас свобода слова во всем. — Что-то блеснуло во взгляде француз, может, это дернувшийся на экране курсор отразился в его очках, может, вспышка негодования.

— Есть права человека, — продолжил он. — У нас никогда не арестуют человека за то, что он говорит свое мнение. Свобода — самое главное! Народ не должен молчать! — Кисти француз подпрыгивали над клавиатурой: зависали в воздухе на секунду-другую и тяжело опускались, с громким стуком впечатывая каждое слово. Я стал ожидать появления на его половине экрана таких слов, как «Revolution» или «Vive la France!». — Если бы у нас такое было, народ бы вышел на улицу. Я тоже пошел бы. И правительству пришлось бы прислушаться к нам, решить проблему. Ради свободы.

Француз перестал печатать, посмотрел на меня.

— Ок. У вас абсолютная свобода... — начал я, но клавиатура съехала у меня с колен на пол. «Sorгу», — сказал я, поднимая ее за шнур, и продолжил: — У нас сейчас демонстрация. Я не знаю, но, может, она как раз про это.

Я тоже посмотрел на француз, пожал плечами.

Повисла небольшая пауза. Дыша уже чуть медленнее, француз спросил:

— Когда закончится этот бунт?

Меня порадовал выбор слова онлайн-переводчиком — «бунт». Да, наверное, именно так и воспринимаются все эти митинги-демонстрации властью — «бунт на корабле». Непонятно только, раскачивается ли лодка посреди океана, грозя утопить всю команду, или же ее пытаются вытащить из болотной трясины на сушу.

— Не знаю. Еще шумят. Не скоро, — ответил я.

— У меня самолет. Надо собираться.

— Хотите, я вас провожу? — До нашего с Дарой поезда еще много времени, так что можно было показать русских не только как кричащую толпу. Было бы интересно посмотреть на мимику иностранца, последить за его изменениями в лице, жестами, поведением, если пройтись до метро в окружении демонстрантов. Но все же я рассчитывал, что нам удастся сразу свернуть на соседнюю тихую улочку.

— Спасибо. Я согласен. Так будет спокойней. — Француз повернулся ко мне и улыбнулся. Во рту у него сверкнул золотом зуб.

— Бояться нечего. К тому же внизу стоит полицейский. Я думаю, они в каждом доме сейчас.

— Полицейский? Нас не выпустят? — В ожидании ответа он вертел головой: то на экран посмотрит, то на меня.

— Почему? Выпустят. Он просто следит. Охраняет.

— Вы уже выходили? — Француз уже не убирал рук с ноутбука.

— Нет.

— Почему тогда уверены, что выпустит?

— Я так думаю.

— А сумки проверяет перед выходом?

— Не знаю. Я с ним не разговаривал. Он мне о своих приказах не говорил.

Француз как-то весь съезжился, плечи опустились, очки съехали с переносицы.

— У меня виза кончилась. Домой возвращаюсь. Тут жену ищу. Она русская. Она в тюрьме. Не смог найти, в какой тюрьме. — Он взялся за ноутбук и пододвинул его поближе, почти на самый край стола. Разворачивая, чтобы мне было лучше видно экран, он чуть не уронил его. Вернул на место, стер пальцем выступившую на лбу каплю пота и стал быстро переключать фотографии.

На экране появилось круглое лицо белокурой женщины лет тридцати пяти – сорока. Фотография сменилась — какой-то ресторан, женщина стоит возле столика в слишком, на мой взгляд, коротком для такой пышной фигуры золотистом платье. Еще снимок — она же в домашнем халате, на лице приятная, доброутренняя улыбка. Обычный тип современной русской женщины в глазах иностранцев.

Не зная, как прокомментировать, я выдал протяжное «о» и чуть улыбнулся.

— Она сидит за <...>. — Онлайн-переводчик не смог перевести слово, которое объясняло бы причину ее ареста. Вернее, он перевел, но предложенное им слово никак не могло сойти за причину. — Я ей вещи привез. У меня полная сумка женских вещей. Если полицейский осмотр, возникнут вопросы. Пока будем разбираться, опоздаю на самолет. Если задержусь на день, новую визу мне могут не дать.

— Может, не будут осматривать сумку, — попытался я ободрить француза.

— Не могу рисковать. Виза.

— Даже если осмотрит. Объясните, что вещи для жены. Должны понять.

— Как я объясню? И не хочу, чтобы кто-то копался в вещах моей жены. — Это мне показалось несколько странным, ведь если бы он передал вещи в тюрьму, их осмотрели бы так тщательно и досконально, что думать о каких-либо принципах глупо и бесполезно. — И времени уже нет. Пора выходить, чтобы успеть на самолет. Здесь есть черный ход?

— Нет.

Я не успел. Мне не хватило какой-то доли секунды, мало-го мгновения. Мои руки уже легли на клавиатуру, чтобы продолжить и написать что-нибудь вроде: «Мне жаль, я ничем не могу помочь» — и с чистой совестью подняться и уйти в номер, но иностранец опередил меня, оставив на экране прямой вопрос: «Что мне делать?», и, уткнувшись лбом в сцепленные перед собой руки, не оставил мне ни малейшей возможности уклониться от участия в его проблеме.

— Мне нужно подумать, — написал я и встал из-за столика.

Оказавшись на ногах, размышляя, я начал бродить из стороны в сторону по гостиной. Первой же мыслью было: «Знал бы всю эту историю раньше, отправил бы француза тут же вслед за Дарой». Просто, спускаясь вниз тем же вихрем, каким она исчезла из номера, эдакой процессией в единственном лице: сорванцами, играющими в «ковбоев и индейцев», носящихся с шумом вокруг приглядывающей за ними мисс Само Совершенство, она уже ошеломила бы юного представителя власти настолько, что тот не обратил бы внимания даже на танцующих и катающихся взад-вперед на перилах котов с человеческий рост, что уж говорить о невзрачном французе с сумкой, полной женского белья.

В какой-то момент я остановился перед книжным шкафом и стал перебирать расставленные как попало книги. В руках оказалось одно старое советское издание. Ценности у этой книги нет никакой, кроме той, что это просто отличный роман. Мелькнула мысль, а не прихватить ли с собой, раз все равно никого нет из персонала — сомнительно, что в этой бессистемной расстановке кто-то вообще был бы способен заметить пропажу, — но совесть победила. Прежде чем поставить книгу на более подходящее место в стеллаже, я раскрыл ее — легкое заигрывание с судьбой, — солнечный свет от ближайшего окна подсветил нижние края страниц. В голову пришла мысль о крыше.

Я вернулся на диван, к ноутбуку, и объяснил свой нехитрый план, затем мы разошлись по комнатам собирать вещи.

Я быстро упаковал разбросанную по номеру мелочь в сумки и вынес их в коридор. Дара прекрасно понимала, что я достащу наши вещи и возвращаться в хостел не имеет смысла — встретимся на платформе. Пока ждал иностранца, надеялся, что, может, хоть сейчас увижу его и поверю, что передо мной настоящий француз. В воображении рисовались картины, как он выходит из номера — в строгом костюме, при галстукe, туфли начищены, — ставит перед собой чемодан и опирается одной рукой о его выдвижную ручку. Или, может, выходит в легком летнем блейзере, наброшенном поверх футболки, ноги обуты в мягкие мокасины, а на плече — кожаная дорожная сумка. Но он, видимо, решил разрушить окончательно мои стереотипы о внешности французских мужчин и просто сменил спортивные штаны на синие джинсы, шлепанцы на кроссовки, а в слегка отставленной от себя руке он держал обычную спортивную сумку с перекинутой поперек курткой-ветровкой.

Мы вышли на лестницу. Француз, аккуратно ступая на ступени, пошел на последний этаж. Я, оставив сумки возле двери и громко прокашливаясь, медленно спустился вниз с обещанными сигаретами в руке.

— Жарко тут у вас, — сказал я, закуривая и передавая пачку полицейскому.

— Да, — коротко ответил он, тоже закурил и протянул пачку обратно.

Я отмахнулся:

— У меня еще есть.

— Спасибо. — Полицейский убрал сигареты в нагрудный карман.

Мы одновременно затянулись.

— А у нас, как всегда, дожди, — сказал я, опасаясь, что в тишине станут слышны крадущиеся шорохи наверху.

Полицейский слегка развел руками, мол, бывает. Огонек на конце сигареты разгорелся.

Молчание снова затянулось.

— Зато не так шумно, — усмехнувшись, кивнул я в сторону выхода.

— Это да, — ответил полицейский, вложив в короткую фразу всю усталость от стояния в темном подъезде, затянулся в последний раз и резко бросил окурочек себе под ноги.

— Надеюсь, к вечеру все закончится, — спрятав почти докуренную сигарету в кулак, сказал я. — Ладно, пойду собираться.

Полицейский ничего не сказал.

Я поднялся к двери в хостел, снял туфли, как можно тише надел на себя крест-накрест сумки, как можно громче, но не хлопая закрыл дверь, взял в руки обувь и поднялся на последний этаж, по пути выбросив в банку потухший окурочек. Француз стоял возле покрытой ржавчиной, как родимыми пятнами, железной дверью. Я кивнул на дверь — «открывай». Француз толкнул. Дверь чуть скрипнула, и в открывшемся проеме зарыбил, словно телепомехи, горячий воздух. Мы постояли немного — не слышно ли поднимающихся по лестнице шагов? Тишина. Я надел туфли, и мы вышли на плоскую — хоть сейчас используй как вертолетную площадку — крышу. Солнце обрушилось на нас жаркими лучами, заставив ссутулиться, вжать голову в плечи. Капельки пота тут же проступили у меня на лбу и потекли к переносице. Я промокнул лоб тыльной стороной ладони и, приставив ее козырьком, стал озираться в поисках пожарной лестницы. «И какого чёрта я ввязался во всё это?» — вяло подумалось мне. Скосил глаза на француза, — поставив сумку на источающий едкие пары слой битума, он присел рядом на корточки, переводил дух. Я снова принялся смотреть по сторонам. На горизонте маячило темное пятно. «Неужели туча?». И наконец увидел два параллельных железных штыря, торчащих из бездны за чертой крыши. Я пошел к ним, поманив за собой иностранца.

Перед лестницей я сделал приглашающий жест быть первым. Француза забила мелкая дрожь, он крепко вцепился в свою сумку, губы его что-то зашептали, не разобрать. Но от края не отходил, смотрел то на землю с высоты в пять этажей, то на свою сумку. Мне даже показалось, что он примеряется, куда ее сбросить. Тень пролетающей птицы скользнула по его лицу и унесла с собой это намерение. Француз перекинул сум-

ку через голову, повернулся ко мне, взялся за поручни и начал спуск. Я подождал секунд десять и последовал за ним.

Спустились мы с торца здания, откуда можно было выйти как на аллею с демонстрантами, так и на параллельную улицу, по которой я и планировал дойти до метро. Но француз, не дождавшись меня, уже бежал к митингующему народу. Я посмотрел вслед его удаляющийся фигуре: «Чего это он?», но пошел следом. Француз на удивление быстро и легко затерялся в толпе. Я прошел вдоль фасада, ища его среди демонстрантов, но куда бы ни посмотрел, видел лишь яркие кричащие пятна.

Дойдя до угла дома, я остановился, повернулся спиной к аллее и стал искать сигареты в сумке. И тут что-то с силой ударило в спину и, развернув, отбросило меня к ближайшей стене. В голове монотонно загудело. Дрожь, прокатившаяся по земле, забралась ко мне в ноги, вытеснив оттуда силы, и я стал медленно сползать по стене, наблюдая, как люди передо мной с раскрытыми, перекошенными ртами бегут кто куда, натываясь друг на друга, спотыкаясь о лежащих на асфальте. Я устал смотреть на этот бред и закрыл глаза.

Я сидел, прислонившись к колесу какой-то машины. Может даже, это была карета скорой помощи — меня только что осмотрел медик. «Все в порядке, — сказал он. — Сиди отдыхай». Я сидел. Я отдыхал. Вокруг было полным-полно полицейских: одни стояли и озирались по сторонам, другие расспрашивали пострадавших, над третьими суетились врачи. Наверное, среди них был и тот юный полицейский из хостела — встречались похожие нашивки. Рядом на горячем асфальте лежала мятая пачка. Может, я сам на нее наступил или раздавил рукой, пока вытаскивал сигарету. Вытащил еще одну. Кривая, но не переломленная. Прикурил. Посмотрел на крыши домов, смазанные медленно заходящим оранжевым солнцем, и на скользящие по ним темные грозовые тучи. «Надеюсь, Дара уже на вокзале, — подумал я. — Сейчас. Докурю и приду». Затянулся. Какая это уже подряд сигарета? Губы не чувствовали жара. Гортань тоже. Только задницу припекало.

Марина Малофеева

.....

Старик

Меня растолкала кондукторша автобуса и, вытянув руку в сторону замерзшего окна, сказала:

— Жницкое, твоя.

Я вышел на «своей», зябко поежился и достал телефон. Автобус, проскальзывая, откатился. По карте мне нужно было идти направо, до первого перекрестка, потом налево и дальше до упора. До перекрестка я дошел, но дороги налево не обнаружилось. Там была сплошная белая поляна. «Понеслась...» — вырвалось из моего рта облачко пара.

Я работаю в банке, IT-специалистом. В мои обязанности входит очень многое. Что многое? Да практически всё... Я тут типа волшебник, оживляю банкоматы и терминалы. Ну, допустим, где-то открывается новый офис и туда надо поставить банкомат. Когда его привозят, это просто металлическая коробочка, нафиг никому не нужная. В нее даже положить ничего нельзя. Сама ни за что не включится. Но тут — всем привет! — прихожу я, маг и волшебник, сую в эту коробочку диск, ставлю систему обработки данных, подключаю систему выдачи денег. Короче, делаю из него банкомат. Такие у нас на каждом углу. Работа эта непыльная, хотя много мороки. Да еще приходится мотаться в другие города и там что-то подключать или чинить. А что делать? Меня часто посылают в эти командировки. Едешь поездом, ночуешь в третьесортной гостинице с грязными полотенцами и невкусной едой.

Про наши провинциальные города я давно уже все понял: маленькие домишки, грязь под ногами, гопота, идиотские сувениры, которые тебе насильно втюхивают, и в центре — обязательно памятник Ленину. На этот раз — Жницкое, поселок.

Причем, судя по всему, даже «не городского типа». Типовые одноэтажные домишки, но есть пара двухэтажных построек: администрация и загс. Улицы, как обычно, грязные, даже не смотря на снежную зиму. Про себя я даже порадовался, что надел берцы, а не свои зимние кеды.

Гостиницы в поселке не было, никто сюда просто так не приезжал, и с жильем пришлось разбираться самому. Командировка планировалась всего на два дня, поэтому я решил снять у местных комнату в доме. Меня отправили какому-то старику, который оказался слепым и жил один в избушке. Старик выглядел бодро, был румян и даже выбрит, в отличие от меня. Я бы дал ему лет восемьдесят, но его волосы седина почти не тронула.

— Ну здравствуй, молодец, — поприветствовал он меня хриплым голосом и протянул вперед руку. Пожатие было крепким, силищи у него было много. — Будем знакомы, я — Федор.

Я назвал себя. Пахло от старика неприятно.

— Мне про тебя рассказали. Будешь машины ставить... это, чтоб деньги выдавали?

— Типа того, — ответил я.

— Ну, добре. Пойдем, покажу тебе спальное место. Ложусь я рано, так что поторопись расположиться. А позже потолкуем. — Он повернулся ко мне спиной и махнул идти за ним в избу.

— Ноги отряхни. — Старик резко затормозил, и я наткнулся на него. — Да осторожней, что ж ты? Кто тут зрением слаб?

Я взял веник и энергично забил им об обувь, не глядя на старика. «Слепонец. Сам ни хрена не видит, а я у него виноват». Старик меня подождал и повел в глубь дома.

Внутри было тепло, но неприятный запах усилился. Мне представилась старая кровать, драное белье, пахнущее мышами, тараканы и толстый слой жира между зубцов на вилках. От отвращения меня передернуло, но старик прервал мои мысли:

— Ты не гляди, что дед слепой, это я недавно ослеп, от болезни. Но я не беспомощный, вот. — Его «вот» звучало как

«оот». — С хозяйством управляюсь потихоньку, а так ко мне каждый день приходят и помогают, чем нужно: мир не без добрых людей.

Он нащупал рукой дверной косяк и обернулся:

— Если чего спереть попытаешься, у меня ружье есть. — Он погрозил в неопределенную сторону пальцем и поплелся дальше через комнату. Его слова меня насмешили.

Он провел меня сквозь большую комнату, вроде гостиной, потом по темному коридору мимо кухни.

— Вот, тут комнатка, можешь ночевать. — Он открыл низкую дверь, мне пришлось пригнуться, чтобы пройти внутрь. — Вещи оставлять не бойся. Я целый день в доме, сюда никто не пойдет, а я рыться не буду. — Старик пропустил меня, но сам не зашел, а повернулся и пошел назад.

— Спасибо! — Я поспешил закрыть дверь. В комнате было сыро, видимо, она не отапливалась. Ставни на окна оказались закрыты, над столом горела пыльная лампа с наполовину облетевшими хрустальными висялками. Я поставил рюкзак на кровать и начал доставать вещи. Извлек планшет, подключился к мобильному Интернету и полез в Контакт. Там сразу выложил фото своей новой койки, написал сестре, что доехал, и от нечего делать начал переписываться с друзьями. Было уже десять вечера, и я вдруг почувствовал, что дико хочу есть. Но с собой были только карамельки, а дед ушел к себе и, как я понял, лег спать. Будить его я постеснялся. Зато за кроватью нашлись розетки: я зарядил все устройства, досмотрел начатый еще в поезде фильм и уснул на покрывале.

Утром, когда я вышел, старик был уже на ногах.

— Удобства, сынок, направо вдоль дома, там тропинку увидишь — по ней иди. — Он стоял возле высокого комода и на ощупь принимал таблетки, меня это удивило, ведь таблетки на ощупь могут быть одинаковыми, но вслух ничего не сказал.

На улице был мороз, меня пробрало до костей за пару секунд, и я вернулся в сени.

— Зябко? Ты тулупчик надень, утром-то оно так и бывает, не пускает тебя тепло на уличку.

Тулуп весил, наверное, килограммов двадцать, и от него шел неприятный запах. Умывальник был в сених, и это был настоящий умывальник, такой же, как на даче у моего деда. Вода в нем была ледяная, и мою сонливость как рукой сняло. Старик предложил на завтрак кофе и пожарил сосиски с яйцами. Со мной он есть не стал, сказал — давно позавтракал. Но из кухни не ушел, начал что-то перекладывать туда-сюда, доставать и убирать посуду. Я на это внимания не обращал, взял вилку и осмотрел ее: жира на ней не было, что меня удивило. Приступив к завтраку, я открыл в телефоне Твиттер и старался не заляпать телефон едой.

— Ты чего это мимо тарелки глядишь? Есть надо обстоятельно, с пониманием. — Старик стоял ко мне спиной.

— Как вы?.. — не понял я.

— Что как? А, ты про это... Так мне ведь слышно же, как ты вилкой еле скребешь. — Он улыбнулся и вышел, а я продолжил свой завтрак в Твиттере.

Через полчаса я уже был в своей комнате и собирался. Достал необходимое, взял сумку с ноутбуком и вышел. Старик сидел на кухне и чистил картошку.

— Уже пошел? — Он обернулся на звук моих шагов. — Знаешь, куда идти?

Я кивнул, но потом спохватился и ответил, что знаю. Он ничего не сказал, и я начал закутываться перед выходом.

— Ну, — снова начал он, — хорошо тебе поработать. Да не сердчай там на наших. Сам понимаешь, они ж деревенские, прости их заранее, глупости могут делать. Бог тебе в помощь!

— Ага, спасибо. Вам того же! — ответил я и вышел на улицу.

Работалось мне, как всегда, однообразно и долго. Часто выходил покурить, но не надолго: на улице было дико холодно. В один из перекуров ко мне подошла какая-то девчонка, мелкая, грязная. Встала напротив.

— Чего тебе?

А она взяла и плюнула мне на куртку. Показала язык и убежала, а я остался стоять как дурак. Не гоняться же за ней. Потом, отмывая куртку холодной водой в туалете, подумал:

«Какие они тут все-таки придурки...» Больше я ни с кем не разговаривал. Даже сахар у них спрашивать не стал, когда кофе себе налил. Банк у них, конечно, восьмое чудо света — о пластиковых окнах тут, наверное, даже никогда не слышали. Закончив работу, я пошел прогулялся по округе: хотелось прийти домой попозже, когда старик уже ляжет спать.

Когда я вернулся, старик уже в самом деле спал. Слава богу! Я запер дверь на засов и пошел к себе. В комнате на столе что-то лежало под белым полотенцем. Оказалось, ужин: толченый картофель с зеленым луком, пара котлет и соленые огурцы с хлебом. Рядом стоял глиняный кувшинчик, прямо как в рекламе деревенского молока. В нем был квас. Видимо, старик ждал меня до последнего. Я вдруг понял, что дико хочу есть.

Рано утром прозвенел будильник, но вставать не хотелось. Ставни на окнах были отворены, и в дом от фонаря лился желтый свет. Я словно впервые увидел свою комнату. Помимо стола и кровати, здесь находился платяной шкаф. Он стоял на ножках, но был таким массивным, что, казалось, вот-вот их раздавит. Повсюду лежали кружевные салфетки, которые привидениями белели в полутьме. На стене напротив окон висел ковер, и на нем виднелись фотографии. Я поднялся с кровати, включил лампу и принялся их разглядывать. Какие-то незнакомые мне люди, словно нарочно позируя, выстроились в ряд. Мне почему-то вспомнились фотографии с моими друзьями: все они были какие-то не такие, не похожие на эти. Мы не пытались красиво позировать, просто сидели за столом, уставленным пивом, и обнимались перед камерой. На наших фотках кто-то обязательно показывал язык или корчил глупую рожу. Кадры были часто смазаны, горизонт завален. Я вспомнил, как пытался показать маме на фото своего друга: он везде вышел неудачно, понять, как он на самом деле выглядит, было невозможно.

Я оделся и прошел в большую комнату, потом заглянул на кухню. Старика нигде не было, зато со двора доносился какой-то шум. Натянув тулуп и берцы, я вышел во двор: там стояли старик и два мужика. Эти двое разгружали дрова, а

дед, опершись на длинную палку, ими руководил. Я подошел и поздоровался.

— А! Ну, с добрым утром! — обрадовался старик. — Вишь, добрые люди помогают, дровишек, значить, привезли, а теперь еще взяли их сложить. Народ у нас добрый, отзывчивый.

Я кивнул мужикам. В такую рань разгружать дрова немного странно, хотя по ним этого не было видно.

— Ну, ступай, ступай, — произнес старик, — а то еще замерзнешь спросонок.

Пока я приводил себя в порядок, умывался, старик уже успел вернуться и сидел на кухне. В доме пахло блинами. «Неужто старик сам умудрился?» — удивился я.

— Садись, — велел он мне. — Тут жена Сергея — того, который дрова помогал разгружать, — блины передала, свежие, еще теплые. Тут с мясом и с капустой: накладывай.

В этот раз он сел за стол вместе со мной, сказав, что «пока свежие, надо скушать». Еще и с собой мне завернул, сколько я ни отказывался. Блины и правда были вкусные, но не целый же день их есть. Спорить не хотелось и пришлось их взять.

В банке ко мне подошла пожилая женщина, сотрудница, и как-то очень неуверенно спросила:

— А вы у старика живете? — Дался им этот старик, тут таких — полдеревни.

— У него, — ответил я. — Если вы про слепого.

— Про него.

— И что? — Я сидел на корточках, и разговаривать мне было неудобно.

— Да ничего. Просто хотела узнать, как он. Может, чего нужно?

— Это, наверное, у него надо спросить, правда?

— Ну, вы передайте ему, что Семенова, из двенадцатого дома, спрашивала. Завтра тогда зайду к нему. — Она повернулась и пошла в другой конец зала.

— Заходите, — ответил я ей в спину. «Странная она какая-то».

В тот день я закончил работу раньше, чем предполагалось, и сразу пошел в избушку к старику. Он меня ждал: что-то раскладывал на столе и улыбался.

— Давай, молодец, заходи сюда, посидим выпьем. Ручки только помыть не забудь.

Я уселся за накрытый стол напротив старика. На скатерти стояли тарелки с разносолами, жаркое в кастрюле, банка с самогоном и большая банка с солеными огурцами. Он попросил налить ему «рюмочку», я налил. Нащупав на столе рюмку, он макнул в нее палец, проверяя, сколько налито, улыбнулся и выпил, довольно крякнув.

— Хорошая вышла наливочка, — хрипло произнес старик, — славная. Попробуй, у вас такого в городе не найдешь. — Он снова улыбнулся.

Я достал с полки вторую рюмку и налил себе половину.

— Полную лей, не бойся. — Я испуганно поднял на старика глаза, но он смотрел в другую сторону. «Видно, на слух понял», — подумал я и долил еще.

Выпили. Настойка была крепкая, но приятная на вкус.

— А из чего наливка?

— Пшеничка. Сам делал, когда зреньице еще было. — Он довольно улыбнулся. — Ты закусывай, она хорошо по ногам дает, — посоветовал старик, но сам не закусил. Я выловил из пятилитровой банки соленый огурец.

— Закусил? Еще наливай. — Он пододвинул в центр стола свою рюмку. Наполнив ее, я налил и себе. Старик снова нащупал рюмку, поднял ее и вытянул вперед руку.

— Давай, молодец, за здоровье выпьем.

Чокнулись, выпили. Внутри все начало теплеть, но голова оставалась ясной. Вдруг заиграло радио, старик повернул левое ухо в его сторону. Видимо, он был глуховат.

— А ты слушаешь музыку? — тихо спросил старик.

— Слушаю, разную.

— Мхм, а я вот всегда слушаю «Встреча с песней». — Старик растягивал слова, словно смакуя. — Уже тридцать лет. Столько времени живу, а передача выходит в эфир. Ее ведет Виктор Татарский. Он уже пожилой, все эти годы он вел ее

сам, каждую неделю. А я слушал. Раньше она шла в воскресенье вечером, а сейчас выходит по пятницам, вот. Раньше я садился, брал тетрадь, у меня тетрадь была, в которую я, значить, записывал передачу. Сначала писал, кто поет, имя, фамилия; потом название произведения и автора записывал, кто написал, значить. Магнитофонов тогда не было, а я так записывал. И знал все песни: кто поет, оркестр, автора произведения, много их было, а я знал, вот. — Он сделал паузу и продолжил: — Еще письма писал в программу, — старик улыбнулся, — заказывал разные поздравления, песни. Один раз поехали мы от завода на картошку, в поле. Жара, а мешки тяжелые. Мы их тогда в машину сгружали, и нужно было идти целое поле, чтобы погрузить мешок в кузов. А там радио, значить, в машине, вот. А я как раз пошел мешок грузить, и тут объявляют, что такой-то, мол, такой-то передает привет однопольчанам из города такого-то. И меня называют. Приятно было, да. Я сел в машину, послушал, песню хорошую поставили. И позже мы вернулись с полей, а мне товарищи с порога и говорят: «Это твое, Федор, поздравление было? Мы послушали с удовольствием, спасибо». Вот.

Старик умолк и повернулся в сторону радиоприемника. Так он сидел какое-то время, слушал музыку, я предложил выпить. Настроение у него заметно улучшилось. Третью рюмку он закусил куском черного хлеба, предварительно его понюхав. Откинувшись на спинку стула, старик начал что-то вспоминать, глядя в потолок.

— А кем вы работали? — поинтересовался я.

— Metallургом, на металлургическом заводе, в плавильном цеху. — Старик гордо приосанился и снова улыбнулся. — Тяжелая работа была, но справлялись.

— А здесь был завод? — спросил я. Старик рассмеялся.

— Здесь? В деревне? Откуда ж? Это я раньше был в городе, там мы семьей жили: я, мать, отец, брат да дядя. Хорошо жили, все работали. Я еще творчеством занимался, был редактором газеты на заводе; писал там много своих стихов, в том числе и шуточных. Народу нравилось, все смеялись, да. Однажды подошел ко мне начальник плавильного цеха и

говорит, так-то и так, Федор, напиши стихотворение в нашу газету. Значит, что Вареньке Земцовой признается в любви ее тайный поклонник. А чтоб она поняла, напиши, говорит, такую фразу: в темных аллеях одна не гуляй больше. А Варя работала на складе, в другом здании. Начальник плавильного цеха был в нее влюблен, я это точно знал. Но как человек он был не очень хороший. — Старик нахмурился. — Много людей из-за него уволилось, нехороший он был. И я решил написать стихотворение-шутку. Вышло очень хорошо, совсем не то, что он просил. Там, значить, я написал, что Варя гуляла одна по темной аллее, а за ней следил некий начальник. И тайный воздыхатель не дал к Варечке пристать и даже дал в морду этому прохвосту. Ой смеху было! Меня, конечно, вызвали к начальству, то-сё... Но я остался при своем месте, обошлось выговором. В стихотворении-то кроме имени Варвара я имен не употреблял. Те, кому надо, и так все поняли, значить, а остальные просто посмеялись. Так что мне ничего не сделали, только этот начальник потом ходил да замечания делал. Так-то. Я и сейчас стихи пишу, — добавил он, — на магнитофон диктую, потом слушаю, что получилось. Ты наливай, наливай. Понравилась, чай, наливка?

Старик улыбнулся в пространство справа от меня. Я налил, он попросил открыть форточку: в комнате стало душно-вато. Нащупав рюмку, он застыл с ней на минуту.

— За все хорошее давай, — и протянул рюмку чуть вперед, я чокнулся с ним и выпил.

Стало еще теплее, я совсем согрелся, хотя в избе было не жарко.

— Коли зябко, газ включи, теплее будет. — Старик снова улыбнулся, а меня передернуло от его догадливости. — Раньше много писем писали, — снова начал старик, словно ничего не было. — Мы с друзьями как разъехались, я стал им всем письма писать. Стихи сочинял, отправлял. Им нравилось, вот. Да только так и не удалось с ними свидеться, далеко все остались. Только Толя Еремин был рядом, заходил часто, — голос его дрогнул. — Пусть земля ему будет пухом, ушел он в прошлом году. — Он помолчал. — Толя тоже остался, мы с

ним часто сидели вот так, за рюмочкой, вспоминали наших знакомых.

— Надо бы помянуть, — сказал я и снова налил. Молча выпили.

— Почти все уже ушли, столько друзей было, всех знал как родных, — старик положил руку на грудь. — Ведь все было, да все вместе пережили. Раньше было не как сейчас, теперь, вишь, люди друг другу чужие стали, с нами не так было. — Он замолчал и осторожно стал вилкой вылавливать из банки огурец.

— А как здесь оказались? — решил спросить я.

Старик широко улыбнулся, показав свои золотые зубы.

— За жинкой приехал. А как же, думаешь, раньше не любили? Любили... Еще как любили и ехали на край света, бог знает куда. — Он махнул рукой. — Я тоже уехал. Уехал из города, от семьи своей, с работы ушел. А здесь женился, дом построил, хозяйство наладил да жил. Жинка-то моя видная девка была, красавица, только никто ей не нравился. Ухажеров у нее — тьма была, а не хотела она за деревенского Ваньку выходить: городского ей подавай. Поступила она, значить, в институт в моем городе, а я жил напротив ее общежития. Так и встретились, полюбились. Потом свадьба была, да только вернулись мы в деревню, как только старшая, — он сделал ударение на последний слог, — появилась на свет. Не выдержала моя молодушка одна, надо было к мамке ейной, значить, за помощью. Так тут и осели. Потом Алешка появился, потом младшенькая Галя, да и закрутилось дело. — Старик выпил. — Только потом диточки все разъехались, что им тут делать, а жинка померла, царствие ей небесное, — он перекрестился, — уж пять лет как. В то время я начал видеть все хуже и хуже, потом совсем слепой стал. Да только на что мне смотреть, коли тут моих близких не осталось? А я и без зрения прожить смогу. Ведь помню всё, где, что да как. — Старик ощупью нашел ложку на столе, потрогал и отложил. — Это очень хорошо и память развивает, и внимание, а так был бы как, вон, наши бабки, ничего не помнят, всё переспрашивают. А у меня слух хороший, хоть и одно ушко еще после цеха слабовато слышит. Но по телефону мне

это не мешает общаться с детьми, я помню, как они выглядят, и всегда для меня они будут молодыми, никогда не стареющими. Алешка-то мой, вон, юристом стал, в большом доме работает, в Думе. — Он поднял палец вверх. Видимо, для него это было очень значительно. — А младшая тоже при администрации курортного города работает, внучка там у нее, Машенька. Старшая в Москве, да только не так ей повезло в жизни, зато характер — ух! — Старик погрозил кулаком и засмеялся. — Кого хош построит, даже министров. Моя-то жинка не такого характеру была, часто ей уступала, потом плакала, говорила, что дочь ее не любит.

Мы сидели так довольно долго, я смотрел на старика и слушал. Его лицо раскраснелось, каждой морщинкой он улыбался, а во рту каждый раз сверкали позолоченные зубы.

Утром я уже собирался назад, до железной дороги меня обещал подвезти местный грузчик, он ехал за грузом на вокзал. Встать пришлось очень рано, но старик уже не спал, а пытался что-то приготовить поесть. На счет оплаты мне с ним договориться не удалось: никаких денег с меня он брать не хотел, а просил заезжать в гости, пока он еще на ногах. Когда приехала машина, я взял рюкзак и вышел на заснеженный двор. Стелился туман. Старик вышел на крыльцо, опираясь на свою кривую деревянную палку. Он хотел, чтобы ее положили с ним в гроб. «Как же я там буду без палочки?» — удивлялся он. Я обнял его на прощанье, а он коснулся меня небритой щекой.

Михаил Громов

Мороженое

Привет! Ты, как всегда, неожиданно. Мне вообще мало кто пишет на личный адрес, зато каждое утро выгребаю кучу спама. Фильтры не работают, приходится листать и удалять вручную. Иногда попадается что-то нужное: счета за Интернет, выписки банковские, какие-то напоминания — вот и вся корреспонденция. Бывает, и ты напишешь. И знаешь, что удивительно? Вроде потому я спам и просматриваю, что жду чего-то, но каждый раз — врасплох. И такое странное ощущение... Изю дня в день — сизифов труд, перебираю эти замусоленные обрывки: часы швейцарские даром, лекарство от смерти, земля в Подмосковье, офшоры, налоги, сайты, рассылки, потворство любым порокам, секс недорого, караули на китайском, заработки, приработки, деньги в долг — и вдруг твое письмо! Как будто рылся в стоге сена и укололся иголкой, которую еще весной уронили в зеленую траву. И знал, что иголка где-то там, знал, что уколется рано или поздно, а все равно — врасплох. Но иголка — не стрела, жить буду.

Между прочим, поймал себя на том, что письмо твое не открываю, пока не расчищу этот мусор вокруг него. Откладываю. Мало того: еще и всю рутинную почту разберу и только потом, когда на рабочем месте порядок... В общем, такой ритуал. Казалось бы, зачем? Я ведь знаю, что внутри одна строка с маленькой буквы и без глаголов: «привет, как дела? какие новости? живой?» Я сперва недоумевал, почему ты шлешь эти тридцать четыре символа письмом? Почему не эсэмэс? И мне кажется, я наконец догадался, в чем дело. Ты ждешь ответ. Ответ с глаголами, с подлежащими и сказуемыми, а не просто «приземлился» — значит, жив, долетел.

Кстати, у твоих писем в поле «тема» всегда пусто. Нет темы. Только имя отправителя — твое имя, совсем короткое и почти незаметное в этой каше. Легко пропустить и удалить вместе со спамом. Наверное, правильно: пусто снаружи, пусто и внутри — никаких ожиданий, чистая формальность. Но письма-то есть... Как будто нужно что-то сказать и что-то услышать, но все слова уже потрачены, все сказано, услышано, все темы исчерпаны. Потому и письма — немые, ходят туда-сюда. А я вчера ходил в кино. Фильм — так себе, но — как сон в руку. Сюжет такой.

Есть главный герой — богатый, сильный, умный, обаятельный и привлекательный, как лорд Байрон. Он женат, но жена ему изменяет. И не с кем-то там, а с его же другом и партнером по бизнесу. Главный герой, естественно, обо всем узнает и вызывает партнера на дуэль. Никаких шпаг, пистолетов: дуэль — алкогольная, по модели «кто кого перепьет». Ясно, что такой поединок рискует быстро скатиться к канонической форме «ты меня уважаешь?». Поэтому герой заранее продумывает для него список тем, по которым стороны должны обменяться мнениями, причем содержательно. Получается, что победа требует от каждого способности много пить и внятно изъясняться (как в биатлоне: чем быстрее бежишь, тем труднее метко стрелять). И вот оппоненты садятся за столик в пустом ресторане, и обманутый муж предьявляет своему визави первую тему — «Мороженое». И тот теряется: «Мороженое?». — «Да, мороженое. Просто мороженое. Что ты можешь сказать о мороженом?» — «О мороженом? Ничего!»

Представляешь, ему нечего сказать о мороженом! Poor Yorick! А теперь послушай, что пришло мне в голову. Мы сейчас будем тренироваться. Будем учиться говорить ни о чем. Предположим, это ты выбрала тему «Мороженое». Просто в теме письма — «мороженое», а внутри — как ты привыкла: тридцать четыре символа. И посмотрим, что получится. Итак, что я могу сказать о мороженом?

Удовольствия, доступные мне в раннем детстве, были не слишком разнообразны. Не слишком разнообразны, но яркие и контрастны, как цвета в наборе из семи советских фломаст-

теров. Мороженое занимало среди них важное место. Жили мы бедно, и карманных денег мне толком не полагалось. Когда я хотел мороженое, я просил маму и либо получал желаемое, либо оставался ни с чем. Зависело это от маминого настроения, от моих отметок, от послушания, от состояния моих glands, от погоды и от массы других факторов, на которые я не имел никакого влияния. Наверное, именно таким и должно быть удовольствие: желанным, эпизодическим, хрупким, уязвимым для недобрых сил окружающего мира и не способным утолить жажду полностью — ускользящим раньше, чем приходит насыщение.

Я учился во втором классе, и у меня был школьный друг. Вместе с ним мы занимались в автомоделном кружке во Дворце пионеров. Ездили туда из Веселого поселка. Ездили сами, без взрослых. Сначала добирались на автобусе до станции «Площадь Александра Невского», потом на метро с одной пересадкой до «Гостиного Двора» и оттуда шли пешком по Невскому проспекту. На выходе из Гостинки в любое время года шла бойкая торговля. Ларек сувениров, Союзпечать, театральная касса, билеты Спортлото и, конечно, тележка с мороженым.

Почему-то во всех моих воспоминаниях о том времени стоит зима, кругом сугробы, всегда темно. Лето и весна не вспоминаются. Продавщица мороженого укутана, как герой-челюскинец на льдине. На ней толстый свитер, клочковатая горловина поднята до носа. Сверху ватник, поверх ватника натянут грязный халат, в девичестве белый, а на халат — черный фартук с большим карманом на пузе. На руках черные просторные рукавицы. Сверху пуховый платок, снизу ватные штаны и валянки с галошами. Непогоды для нее не существует. Обложенная десятью слоями утеплителя, она недоступна холоду, но выглядит как жаба, варварски надутая через соломинку подростком-живодером.

В ее тележке — чудные дары. Сливочные брикеты с двумя прямоугольными вафлями по бокам за 22 копейки. Наслаждение таким брикетом требует навыка. Если брикет хорошо заморожен, можно просто кусать сверху и двигаться

вниз, постепенно освобождая его от обертки. Но надо спешить! Иначе внизу образуется влажный пузырь, который непременно найдет отверстие в бумажке и уронит свои липкие капли на только что постиранную мамой одежду. Приходится кусать брикет, держа его далеко от себя, сгибаясь пополам и вытягивая шею. Какое уж тут удовольствие! Поэтому я ем брикет не так. Сразу выкидываю обертку и остаюсь с раздетым брикетом один на один. Беру его с двух сторон за вафли большим и указательным пальцем и, вращая по кругу, выедаю середину. Потом обкусываю повисшие уголки вафель и снова кручу, вылизывая мороженое. Опытному едоку такой способ гарантирует максимальное наслаждение. И чистые пальцы! Я ненавижу липкие руки, поэтому брикеты ем с особой аккуратностью. К тому же зимой я всегда могу вытереть пальцы о снег.

Вместе с брикетами в заветной тележке мерзнут бумажные стаканчики пломбир и крем-брюле по 20 копеек. К ним выдается плоская деревянная палочка, вроде той, которой доктор прижимает язык, когда смотрит горло. И, конечно, на самый крайний случай в тележке можно найти относительно новое и не очень удачное изобретение — ядовитые фруктовые стаканчики по 7 копеек, не сулящие мне никакой радости, хотя и доступные. Олимпийского эскимо 80 года рождения, как и сахарных трубочек, в той тележке еще нет. Но уже что-то витает в атмосфере, сулит их скорое появление.

Тележка с мороженым основательно укрепляла нашу мотивацию к посещению кружка. Раз в пару недель нам удавалось, экономя на школьных обедах, скопить по 20 копеек и по пути во Дворец купить себе по стаканчику крем-брюле или в особых случаях по брикету. Стограммового мороженого как раз хватало на недолгий путь от метро до помпезных чугунных ворот Дворца пионеров. Но человек слаб, алчен и не готов довольствоваться тем, что имеет. Так и нам хотелось большего. К тому же и предмет вожделения был на виду.

Большой брикет за 48 копеек! По сравнению с обычным стаканчиком он казался огромным и обещал поистине не-

скончаемое блаженство. Но 48 копеек... Это невозможные деньги! Всякий раз, шагая ко Дворцу и ковыряя палочками стаканчики, неспособные удовлетворить нашу страсть, мы мечтали об этом брикете и вслух размышляли о том, как было бы здорово купить именно его. И вот однажды мы приняли решение.

В один из дней, когда состояние карманов позволяло нам насладиться обычным мороженым, мы заставили себя пройти мимо тележки. Еще неделю мы аскетично копили деньги, отказывая себе во всем, а когда пришла пора ехать во Дворец, мы на остановке продали добрым людям три автобусных талончика, выручив за них еще 15 копеек. Добрым людям мы говорили, что потеряли пятак, выданный мамой на метро. В результате у нас образовались вождеденные 96 копеек на двоих. И мы устремились на «Гостиный Двор».

Нам не терпелось. На эскалаторе мы волновались, будет ли работать тележка, не кончатся ли брикеты. Но волнения были напрасны. Тележка была на месте, а брикеты покоились ледяными кирпичиками в ее чреве и ждали нас. Мы высыпали медяки в холодную ладонь продавщицы. Она бегло пересчитала мелочь, откинула крышку и выдала нам мороженое. Планируя съесть его здесь и сейчас, мы прихватили по одной деревянной палочке и, не имея никакой возможности медлить, начали нетерпеливо освобождать предметы своего желания от обертки. И тут призадумались... Как часто бывает, дремлющее сознание неожиданно пробудилось и в последний момент ухватило длинной костлявой рукой яркий шлейф разноцветных ленточек воспаряющей страсти.

Практически одновременно мы осознали, что съесть брикеты до кружка не успеем. Конечно, можно в спешке доест их в раздевалке среди толкающихся родителей и малышей. Но разве этого мы хотели? Разве можно так пошло испортить себе долгожданное удовольствие?

Подобрав слюни, мы завернули брикеты обратно, не откусив ни кусочка. Зайдя в сквер перед Дворцом пионеров, мы выбрали подходящий сугроб, вырыли в нем норку, положили туда наше сокровище и закидали снегом. Пусть лежит

спокойно и ждет момента, когда мы выйдем после занятий, и уже ничто не сможет помешать нашему долгому наслаждению.

Каждая минута оборачивалась бесконечностью, но два часа пролетели быстро. Надо ли говорить, как мы беспокоились! А вдруг именно сейчас приедут чистить снег? А вдруг кто-то обнаружил наши тайные маневры? А вдруг...

Застегиваясь на бегу, мы выскочили в морозную темноту и оказались в лучах яркого света. Во дворе снимали кино! Кругом суетились люди из разных эпох. Парни в дубленках и синих джинсах, матерясь, устанавливали прожектор. Джентльмен в высоком цилиндре и с бакенбардами, чертя на снегу узоры медным наконечником трости, тихо разговаривал с элегантной дамой в мехах. Женщина в очках, похожая на учительницу музыки из нашей школы, пристегивала шашку в инкрустированных ножнах к португальскому усатого жандарма. Жандарм наливал себе чай из розового китайского термоса.

Занавес соцреализма неожиданно отодвинулся, и сквозь узкую щель нам открылся интимный мир кинематографа. На мгновение мы забыли обо всем на свете и застыли в немом созерцании. Прямо перед нами стояла изящная коляска, запряженная лошадыми. На козлах сидел толстый кучер с бордой Деда Мороза, закутанный в потертый тулуп неопределенного цвета и подпоясанный кожаным ремнем с латунной пряжкой. На пряжке мы разглядели якорь с эмблемы Военно-морского флота СССР. Как маленький обман, просочившийся сквозь флер иллюзорного благополучия, обнаруживает за ним огромную ложь, этот ничтожный изъян, без сомнения незаметный в кадре, приковал наше внимание и перенес нас из органичного и цельного пространства чуда в дремучую, но хорошо знакомую реальность синтетики и цинизма. Оказывается, и в кино все не по-настоящему!

Не удержавшись, мы подошли к кучеру и сказали, что его предательский военно-морской ремень разоблачен. Кучера это нисколько не смутило. Он сплюнул на снег и сказал: «Так, а ну-ка, пацаны, гуляйте отсюда! Валя, чего эти тут делают?!»

Ну, кучер он и есть кучер, решили мы. В конце концов, искусство искусством, а у нас есть дела и поважней!

Под пристальным взглядом Вали, освещенные софитами, мы упали на колени у подножия сугроба и, закопавшись в снег по самые плечи, отрыли свой вожделенный клад.

А что было дальше? Все стерлось, нет ни единой зацепки. Я помню, как мы продавали талончики, как колебались — есть или не есть брикеты немедленно, помню, как решали, что с ними делать, и до сих пор могу указать место, где возвышался сугроб. Я помню кучера и якорь на его пряжке, но я совершенно не помню, чем закончилось наше приключение. Скорее всего, мы жадно слопали свое мороженое и вряд ли получили удовольствие, соразмерное предвкушению. В худшем случае мы доедали уже в метро, торопясь, давясь и роняя на пол растаявшие липкие капли. А потом я маялся, не зная, обо что вытереть руки.

Но эта история должна быть светлой, хотя и немного грустной, как любое воспоминание об ушедшем детстве. Поэтому я хочу помнить, что мы проглотили свое мороженое быстро и с удовольствием, до того, как угас аппетит и измазались пальцы. Мы нетерпеливо ждали этого момента, мы готовились и приносили жертвы, мы неистово томились последние несколько часов и выплеснули всю энергию ожидания за считанные минуты. А могло ли быть иначе?

Скажи, могло ли что-то быть иначе? Думаешь, могло быть счастье большее, чем его предвкушение, чем само движение к нему? Оглянись — это конечный пункт пролетел мимо бурным полустанком. Даже названия не оставил. Проследовали без остановки. Говорят — память избирательна. Вот и выбираем: до или после, радость предвкушения или... то, что потом. Эх, сантименты — гибель моя! Просочились.

Чуть не забыл: ты спрашивала, как дела... Дела в порядке, качусь по рельсам, все гладко, только изредка тряхнет на стрелках, вздрогнет что-то — и снова мерный стук, крепкий сон, новый день. Вроде все.

Прыжок

— Что ж вы раньше не позвонили? Я бы тоже поехал. — Он встал и свободной рукой поправил на стене семейную фотографию. — Ладно, забудь. Ни пуха ни пера!

Телефон замолчал. Он бросил его на диван:

— Авантюристы!

На кухне звенела посуда, бегло стучал по доске расторопный нож, вкусно пахло едой. Близился субботний ужин. Он подошел к окну. Темнело. Кто-то грузил в машину комплект зимних покрышек. Самое время, пока нет очередей. Скоро первый снег. Спыхватились! Бросай все — и поезжай. Зачем они вообще позвонили!

Вполне благополучный, заметный, шумный, он жил, казалось, легко, без видимых усилий. Был увлечен своей инженерной работой, востребованной и непыльной. Он женился еще студентом, рано завел ребенка, быстро встал на ноги и состоялся в профессии. Его считали основательным, удачливым и целеустремленным. Но сейчас он смотрел на свое отражение в темном окне и чувствовал, что покой, в котором он видел конечный смысл и цель всех усилий, ускользает от него.

— Идите ужинать, — позвала жена. — Где мальчик?

Он задернул шторы. Есть не хотелось. Тяжелая, размеренная поступь звучала в такт гулким ударам полкового барабана. Слышался дробный топот коней, холодный лязг оружия и доспехов. Хрипло сигналил о чем-то горн. Дверь в детскую была приоткрыта.

— Эй, рыцарь! — крикнул он. — Ужин остывает.

* * *

— Представляешь, эти красавцы хотят прыгнуть с парашютом.

— Они уже год болтают.

— Завтра точно поедут. Потом все — перерыв до конца мая.

— Авантюристы!

— Вот и я говорю... — Он отодвинул пустую тарелку, собрал рассыпанные хлебные крошки. — Меня зовут.

— Послушай... — Ее руки заметались, поймали салфетку, торопливо сложили пополам. — Не надо!

— Перестань, это не опасно. Все уже попробовали, куча людей! Только я...

— Да какое мне дело до всех?!

Девять лет назад он в последний раз уезжал в большие горы. Она, беременная, ждала его дома в полной неизвестности. Связи не было, пока они не спустились в долину. Когда он вернулся, живой и здоровый, с обветренным, загорелым лицом, она призналась, что ходила в церковь и окрестилась. Потом он часто посмеивался над этим проявлением набожности, единственным за все время, сколько они знали друг друга.

— Ты и поволноваться не успеешь. Раз — и всё! Дольше ездить туда-сюда.

— Ну я прошу тебя, не надо. Могу я тебя попросить?

— А что я скажу им? — Он кивнул в сторону телефона. — Жена волнуется, не могу... Подумают — струсил.

— Струсил? — Ему показалось, что она удивилась. — Мы же договорились с тобой. Ты завтра сидишь с ребенком. Ты обещал мне. И ему обещал. Он этот музей полгода ждет. А у меня с утра эфир, потом итоги монтировать до ночи. Как я буду работать? И не засну теперь...

— Не заснешь? — переспросил он рассеянно. — И что же мне делать?

— То, что обещал, — голос ее звучал твердо.

— Ладно... — Он помолчал. — В музей так в музей. Спасибо, что не в филармонию.

— Не вздыхай! Проведешь день с ребенком. Он это на десять лет запомнит. — Она встала и занялась посудой.

— Главное — спи крепко! — сказал он ей в спину. — Утром звонок поднимет нас, как рваные флаги.

Огромный, тяжелый маятник медленно очертил дугу, замер и поплыл обратно. Стало неуютно. Возникло что-то

ненужное, лишнее, как будто посторонний тихо вошел и остановился за спиной. Он отложил книгу.

Снова и снова холодок безотчетной тревоги подкрадывался к нему. Он, как спросонья, прислушивался, не мог понять, откуда этот сквозняк, и уже в следующее мгновение страх, ледяной страх, невыносимо предметный и отчетливый, как отражение в зеркале, обволакивал и теснил его со всех сторон. Он собирался с мыслями, повторял, что никуда не едет, и страх понемногу рассеивался. Наступала минутная легкость, но в ней он ясно различал торжество собственной трусости. Хотелось вымыть липкие руки, он машинально тер их об одежду. Удар гонга поднимал его из угла. Музей, ребенок, полгода, жена будет волноваться, у него семья, обязательства, обстоятельства... Он брезгливо морщился. Раздражение нарастало в нем, и наконец, ведомый лишь спасительной злостью, в которой тонули все сомнения и вопросы, он оттакивал от себя застывший маятник, брал книгу и забывался в чтении.

В доме было тихо, все спали.

Ему нравилось блуждание наполовину осиротевшей мысли, когда остроглазый кормчий, беспомощный в темноте, уступал вахту слепому пассажиру и тот, упиваясь бесконечностью, ловил парусами сомнений тревожное дыхание ночи.

Нельзя открывать чужие письма, подглядывать в замочную скважину, врать, бить лежачего, ездить без билета. «Иначе потеряешь самоуважение», — неизменно говорила мама. Он смутно ощущал фатальность этой потери, но истинное ее значение до поры оставалось непостижимым. И было лишь слово. Как тень страшной кары, опускаясь все ниже и ниже, оно висело над ним, пока он жадно пил время.

«Это добром не кончится. Обольешься!» — Мама хмурилась, когда он, прижав к губам прозрачный стакан, запрокидывал голову и, щурясь, рассматривал мерцающие предметы сквозь бегущую по стеклу воду. С каждым глотком все вок-

руг прояснялось. Очерчивались и застывали дрожащие контуры, мир упорядочивался, выступал из радужной дымки и, лишенный таинственной поволоки, походил на конструктор. Но чем более явным казалось ему то, что было снаружи, тем сумрачнее и тревожнее становилось внутри, словно вся недосказанность увиденного пролилась в него разрушительным смыслом.

Слово ударило в самую середину и раскололо его.

* * *

Он перевернул подушку. Ее обратная сторона была прохладной и свежей, как лунный свет за уснувшими шторами. Теперь он остался один, и никто больше не возражал ему. Все обманы исчезли. Его утлый ковчег растерянно метался среди черных волн в океане страха, а он, упав ничком на ватную палубу, трусливо пережидал этот шторм в своем непрочном убежище.

Сколько лет прошло? Два года или три... Они ходили в аквапарк. В дальнем углу высилась безлюдная горка для самых отчаянных. Скатившись первым, он едва ли не силой затащил сына под гулкие своды крыши и вынудил его съехать вниз. Он не мог смириться с тем, что мальчику страшно. Были слезы, истерика, уговоры жены отступить, но он оставался непреклонен и холоден, как чужой. Мальчик должен победить свой страх! И он заставил его победить, выбросил из ковчега. Говорят, так можно научить плавать... Потом ему было стыдно и неприятно вспоминать об этом. Он никогда не умел принять в сыне то, что подозревал и больше всего опасался обнаружить в себе самом. И что же теперь? Никто не выбросит его из ковчега и никто не осудит. Пусто вокруг, темно и пусто. Ночь — только слово, пустая тьма.

Сон подступал к нему. Он проваливался в неподвижную, холодную тишину, становился почти невесомым, но отчего-то вздрагивал и, наливаясь тяжестью, искал и не находил под собой привычной опоры.

* * *

— Пап?

— Что?

— А если мама позвонит?

— У меня телефон сел. А ты скажешь — мы в музее, ходим по двору. Там пушки, ракеты... Помнишь?

— Да. Как будто я лазаю по ним, а ты отошел.

— Точно! Только смотри — будь убедителем! Чтобы мама не волновалась напрасно. Справишься?

— Не знаю.

— Представь, что ты нам объясняешь, как тебе не задали ничего по всем предметам.

— Хорошая идея.

— Плохого не посоветую. Я ж отец твой, какой-никакой.

Они выехали из города на шоссе. Аэроклуб был недалеко.

Утром, когда жена ушла на работу, он легко подговорил сына. Прыгать тому еще рано, но они вместе пройдут инструктаж. По-настоящему, как десантники! Какой уж тут музей... Потом он начал звонить друзьям. Первый не взял трубку. Второй подошел, но был спросонья. Выяснилось, что все отменяется: первый где-то загулял, вернулся под утро и был не в форме; прислал сообщение. Второй решил, что один не поедет, а сейчас уже поздно. Конечно! Надо принять ванну, выпить чашечку кофе... Ладно, бог с ними.

— Пап, а мне когда можно с парашютом?

— С восемнадцати лет, наверное.

— Еще не скоро.

— Да, еще лет десять тебе беспокоиться не о чем.

Крупные капли дождя упали на стекло. Он включил дворники.

* * *

Парашютная система Д-6 предназначена для совершения учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов и вертолетов. Прыжки выполняются парашютистами-десантниками с полным и неполным табель-

ным вооружением и снаряжением на скоростях полета от 140 до 400 км/ч. В состав парашютной системы входят: камера основного купола и сам купол, стропы, подвесная система, ранец, кольцо вытяжное с тросом, стабилизирующая система и ее камера, прибор АД-ЗУ-Д-165, серьга, паспорт, переносная сумка. Части парашютной системы неотделимы, что исключает их отсоединение в течение всего процесса раскрытия и снижения.

Перед большим пожухлым стендом группу новичков познакомили с тактико-техническими характеристиками парашюта. Они узнали, какова площадь основного и запасного куполов, длина строп, вес изделия и год его принятия на вооружение.

Когда инструктаж перешел в практическую плоскость, они выяснили, что, прыгая с километровой высоты, в свободном падении человек долетает до земли за двадцать секунд, а с выпущенным стабилизирующим парашютом, размером с зонтик, — за тридцать. «Но с тем же результатом», — уточнил инструктор.

Им подробно рассказали, как следует вести себя в воздухе и какие ощущения будут сопутствовать прыжку на всех его стадиях (при благоприятных обстоятельствах, а также в иных случаях). Главное на этом этапе миссии — не потерять в полете выдернутое кольцо. В договоре, который они подписали, предусмотрен штраф за утрату кольца. Пятьсот рублей.

Были и хорошие новости. Парашют Д-6 оснащался страхующей системой автоматического раскрытия. Поэтому безопасно приземлиться на нем, по словам инструктора, мог бы и мешок картошки. Но именно у людей по каким-то причинам возникали проблемы. Не полностью раскрывался купол, перехлестывались стропы, вытяжной парашют цеплялся за крыло, пульсировала случайно выпущенная запаска, подвесная система запутывала конечности и душила. Правда, для каждой особой ситуации имелась и особая инструкция, которая сулила спасение всякому, кто грамотно, своевременно и хладнокровно распорядится драгоценными секундами.

По земным меркам инструктаж длился мучительно долго, но время в аэроклубе имело как будто меньшую плотность. Разбавленное мутным потоком информации, оно растекалось по сознанию и погружало его в отрешенный терапевтический сон.

«В небе вам волноваться не о чем, — сказал инструктор напоследок. — Все неприятности с парашютистами происходят только на земле».

* * *

Над летным полем висели тяжелые низкие тучи. Дождь, несильный, но упрямый, то прекращался, то снова начинал барабанить по тонкой алюминиевой крыше ангара. Инструктаж давно закончился. Дважды, когда погода будто бы прояснялась, их поднимали, как по тревоге, и гнали к заранее приготовленным парашютам. Во второй раз они успели надеть снаряжение и уже выстроились перед гудящим самолетом, но с неба опять полилось. Пришлось вернуться назад.

Последние полтора часа дождь шел не переставая. Световой день близился к концу. Их группа редела. Время от времени кто-то вставал, прощался с остальными и уезжал в город. Не было больше показной веселости, болтовня иссякла. Все выглядели утомленными.

Он неподвижно сидел на низкой гимнастической скамейке, устало откинувшись к стене и сцепив на затылке поднятые вверх руки. Казалось, не будь этого единственного усилия, и он распался бы на части от малейшего сотрясения. Антракт затянулся, актеры курили под навесом. Массовка разбрелась. Оставленный в покое, он словно выходил из похмелья и чувствовал только усталость. Усталость и обман. Он ехал за подвигом, а попал в балаган. Конечно! Вон их сколько вокруг... Сели по лавкам, и у каждого — подвиг. С восьми утра до десяти. Купол, серьга, картошка, перехлест, вытяжное кольцо, какой-то прибор, пятьсот рублей и неприятности только на земле. Смешно! Он явился после бессонной ночи, как черный холст — строгий и торжественный. Хотел написать

белый круг, а они целый день мешают на нем свои ярмарочные краски.

— Абсурдисты!

— Пап? Что ты сказал?

— Аферисты, говорю.

— Где?

— Да везде! И дождь этот... Ты не заскучал? Есть не хочешь?

— Не хочу.

— Правильно. Еды-то все равно нет.

Он шумно выдохнул, поднялся и подошел к открытой двери ангара. Все серое. Ничего не поймешь. Еще час — и поединок будет прекращен, он примет извинения. В дождь мы не выходим.

Надежда на легкое избавление предательски зашевелилась в нем. Он вернулся и сел на свое место:

— А я вот проголодался.

— Зря. Еды-то нет.

— Сейчас бы супчика, да с потрошками! — Он хлопнул себя по коленям. — Помнишь, что самое опасное в парашютном спорте?

— Что парашют не раскроется?

— Эх ты, ученик! Самое опасное в парашютном спорте — это путь на машине из аэроклуба. Инструктор тебе пять раз повторил.

Он снова посмотрел на выход. Теперь ему стало досадно. Кто-то уводил у него из-под носа уже совсем недалекую и чистую победу.

Маленький допотопный кукурузник нехотя разогнался по бугристому полю и, подпрыгнув на кочке, долго метался между землей и небом, устремляясь вверх, проваливаясь и отскакивая от мокрой травы, как резиновый мяч. Он сидел возле самого люка. Увесистый ранец толкал его в спину, а на коленях тугим свертком, словно грудной ребенок, покоился запасной парашют.

Страх пробудился и пульсировал в нем. Через крохотный иллюминатор он видел пустоту, которая, ширясь, отделяла его от земли, и ветхий, мятущийся самолетик казался ему спасительной твердью.

На переборке за спиной у пилотов загорелся желтый фонарь. Инструктор встал, открыл люк и жестом указал ему на черту в одном шаге от края. Перед посадкой их выстроили по весу. Ему выпало прыгать первым. Тяжелее никого не было. Он поднялся и пристегнул карабин. Страх отдавался в руках мелкой дрожью. Ему казалось, что все взгляды устремлены на него. Он крепко взялся правой рукой за кольцо и, как учили, положил левую сверху. Прямо под кольцом отчаянно билось сердце. Через открытый люк, завывая и рыча, к нему тянулось равнодушное, чужое небо.

Он посмотрел вниз. Там лежала земля, непривычно укрупненная, неподвижная, без косметики и мишуры. Страх внезапно покинул его. Он ощутил внутри абсолютную пустоту, легкую, прозрачную и бесконечно далекую от тяжелой опустошенности минувшего дня. Не осталось ничего лишнего — только бескрайнее свободное пространство, готовое широко распахнуться перед чем-то неподдельно настоящим, что было ему действительно дорого.

Так побеленная комната, дыша свежестью новых обоев, удивляется эху и ждет возвращения любимых старых вещей.

На краю летного поля стоял мальчик. Футбольный мяч, которым он играл минуту назад, укатился в сторону. Он не пошел за ним. Подняв лицо к небу и щурясь, он следил за большими белыми куполами, застывшими высоко над его головой в искрящейся туманной дымке.

Екатерина Дмитриева

Изменения возможны

Это была первая мысль, которая пришла к нему в голову в то утро. Утро в садоводстве «Эталон». Здесь трудолюбивый дед когда-то выстроил дачу, и он привык наезжать сюда в выходные.

Он натянул домашние джинсы и футболку и подошел к окну. Соседка в светлом белье наливала воду в летний душ — ни дать ни взять баба с кувшином.

Он сварил себе кофе на электрической плитке, сел в кресло, открыл ноутбук и сунул в рот сигарету. Посмотрел почту и новости.

— Надо что-то менять, — сказал он. — Вот что ты делаешь каждое утро? Просыпаешься, умываешься, идешь на кухню, варишь кофе, куришь, включаешь ноутбук и ждешь. Смотришь в окно.

Он посмотрел в окно. За окном прошла баба с кувшином — только теперь она была с охапкой ромашек. Он сунул в рот еще одну сигарету.

— Стоп. Чтобы все изменить, надо все изменить. Буквально все делать не так! Вот почему я держу сигарету в левой руке?

Он переложил сигарету в правую руку и прислушался. В мире ничего не менялось. В мире стрекотали кузнечики. Ему показалось, что образы из недописаной книги, как нежеланные дети, шныряют по дому то тут, то там, неприкайные. Почему из всех своих глубоких и так прекрасно задуманных книг он смог закончить только одну-единственную? Ту, про которую она сказала «фантазмагорическая гнусь»? Ту, которую критики назвали актуальной?

— Надо написать список дел на сегодня, — сказал он.

Он стал писать список дел. Это она научила его фиксировать предстоящие дела. Странно, но во всем другом она не была аккуратной. Некоторые вещи ужасно въедаются в память. Например, ее туфли. Узкие туфли. Она иногда ходила по дому в туфлях. Эта небрежность когда-то очень раздражала его, теперь — умиляла.

В дверь постучали. Не дожидаясь ответа, вошла соседка. Он посмотрел вниз и увидел ее босые ноги. Белые босые ноги.

— Сережа, тебе навозу не надо?

Она облокотилась полными локтями на стол. Белая цветущая женщина. Пышногрудая, степенная. Баба с кувшином. Баба с веслом. Баба с дитём. В рамках своей опрятной жизни она всегда последовательна и настойчива.

— Мы машину заказали. Меньше никак. Вот, думаю, Сережа обрадуется.

— Спасибо, не надо.

— А как же клубника?

В соседнем дворе взвизгнула и тоскливо залаяла собака.

— Дед твой, царство ему небесное, до чего клубнику любил, ухаживал, всем садоводством, к нему за усам ходили... А ты запустил. Ты, Сереженька, хозяйство забросил.

Он сунул в рот сигарету.

— Куришь много, между прочим. Пошел бы хоть позагорал на грядках. А то все пишут-пишут, а что пишут — и сами не понимают. Лишь бы написать!

Сколько он ее знал, эту соседку? Лет десять. Нет, больше, пятнадцать. Неизменяющаяся женщина. Неизменная. Книги, кино и наука генетика — все это об изменчивости человеческих организмов. И все это не для нее. Он отодвинул вместительную пепельницу с ворохом окурков. Искушение. Чехов не любил пепельницы. Тяжелая пепельница — искушение.

— Думай, — упорствовала соседка, — машина завтра придет. Где разгрузать-то?

В соседнем дворе гаркнул грубый мужской голос, что-то бабахнуло.

— Да где хотите, там и разгружайте. Мне не надо.

— Сережа... я твоему деду обещала.

Лицо у нее пошло розовыми пятнами, грудь заколыхалась.

— Воды? — спохватился он и вскочил.

Кто-то ахнул, но он еще ничего не понял. В висках что-то дважды тяжело стукнуло, он судорожно вздохнул и взмахнул руками. Падая, успел подумать, что падение выходит какое-то театральное. Во вкусе Пьеро.

Очнувшись, он увидел бабу — на этот раз она была со стаканом.

— Корвалол, — говорила баба и совала к его губам стакан. Засиженный мухами стакан, творение Веры Мухиной. Мухи — Мухина. Его ум устало фиксировал взаимосвязи. Все в мире взаимосвязано.

— Корвалол, тридцать капель. Пей!

Он покорно выпил и еще с минуту лежал как стеклянный.

— То же мне — Пушкин... Что, полегчало? Дед твой тоже — жил-жил, да и в ящик. — Розовая женщина говорила в одну строку, без знаков препинания, словно стреляла из пулемета. — Слабая у вас порода, Сережа. Душно сегодня, давление, сердце-то и схватило. Ну что, договорились? Завтра к двум обещали подвезти. Я думаю, у забора... или тут, поближе к сараю... А?

Он приподнялся и сел.

— Хорошо, Антонина Пална, — сказал он. — Тут и разгрузайте.

Когда соседка ушла, он снова сел в кресло к ноутбуку, сунул в рот сигарету, посмотрел в окно и прислушался.

В мире что-то неуловимо менялось.

Дмитрий Диканов

.....

Утро Степана

Степа открыл глаза. Кое-как склеил фрагменты вчерашнего вечера, покряхтел, свесил с дивана руку и пошарил вниз. Нашупал бутылку, схватил ее всей пятерней за горло, чуть приподнялся и отпил. Поморщился, выдохнул и сделал еще несколько глотков. Каждое движение отзывалось в теле нытьем и стрельбой в висках.

— Хорошо, мать не спрятала, а то бы подох. А потом еще небесный трибунал за дезертирство...

Степа допил коньяк. Голова его стала легче, мысли — ясней. Он только третьи сутки дома, а часть приснилась уже во второй раз. Сегодня приснился Фоня. Сашка Фонвизин, человек-оркестр. Талантливый парень, всем стихи в письма диктовал, а песни заворачивал такие, что у прапора слезу вышибал! Потом Фоня повесился. Говорят, он своей бабе позвонил и она ему что-то наговорила.

Степа лежал на спине и двумя пальцами водил по щетине на подбородке. Ему не давал покоя вчерашний вечер. Вернее, самый финал — его он почти не помнил. Такое после больших гуляний случалось с ним. Провалов этих Степа не любил, потому что они влекли за собой неприятности. Так в позапрошлом году Степа, себя не помня, влепил затрещину дэпэзнику, остановившему их восьмерку. И водитель был трезв, и инспектор не хамил... Чего завелся? Выскочил с переднего пассажирского и тресь ему! Мутузили тогда Степу долго... И мучительно выхаживался потом, и «условно» корячилося. А с «условкой» мечты о десантуре катились ко всем чертям... И все-таки слезы мамы и пачка денег убедили сержанта. Дело не завели.

Степа потянулся, зевнул. Хотелось курить. Почему-то ему вспомнились семейные праздники за сдвинутыми столами. Если гостей собиралось много, Степа помогал старшему брату носить от соседей стулья. Взрослые сидели за столом, пили, курили, смеялись... Веселый дедушка Вова угощал детей конфетами, извлекая их из карманов, как фокусник.

Коньяк отпуская, возвращалось назойливое вчера. Последнее, что он помнил, — как они выходили от Лехи. Леха не смог даже запереть за ними, и дверь просто прикрыли. Степа вспомнил, как он пристроился отлить у гаража за стекляшкой. Долго возился с ширинкой... А еще там был противно гавкавший сеттер... И еще... Степа даже застонал: ему вдруг вспомнились женские серые глаза. Умоляющие, невозможные... Но чьи они, Степа не помнил. Его мысли прервал задрезавший в коридоре домофон. Степа нехотя встал и поплелся в прихожую.

— Кто? — спросил он

— Р-р-рота, па-адьем!!

В трубке раздалось громкое ржанье. Это были Мишка с Серегой — друзья.

— Головка бо-бо? — уже на лестнице стал подкалывать Мишка. — А мы тебе воды живой принесли.

Друзья разулись и прошли на кухню. Серега вытащил из мешка литровую бутылку водки и поставил на стол. Вторую, поменьше, убрал в холодильник.

— Ну что, Стэп, — улыбнулся Мишка, — починимся?

...Степа сидел, облокотившись на стол, и смотрел телевизор. Румяный, круглолицый майор ладно вещал об улучшающихся условиях военной службы. Степа вылил остатки водки в стакан и поставил пустую бутылку на пол к первой. Выпил. Взял с блюда кружок колбасы, положил на него дольку соленого огурца и отправил в рот. Справа от Степы лежало на своей руке и посапывало спящее лицо Миши. Серега давно спал в комнате на диване.

— Развезло, — неизвестно кому сказал Степа. И прибавил: — Надо идти за добавкой.

У подъезда Степа встретил тетю Машу с третьего этажа. Поздоровался. Тетя Маша расплылась в улыбке, но тут же лицо ее стало настороженным.

— Ну и вымахал ты, Степан! — сказала она, качая головой. — На батю покойного стал похож... Много отслужил?

— Почти все. Два месяца до дембеля.

— В отпуск приехал?

— Ага, завтра обратно...

Степа зашагал дальше, к магазину. Ему всегда было немножко жаль тетю Машу. Ее муж два года назад попал под электричку на Пискаревке. Нетрезвый, конечно...

В магазине Степа взял бутылку водки и подошел к кассе. Перед ним тучная женщина выкладывала содержимое своей корзины на черную ленту. Кассирша считывала штрих-коды и украдкой подозрительно поглядывала на Степу. Степа тоже внимательнее посмотрел на нее... и обомлел. Он узнал глаза.

За Степой встали. Тучная женщина расплатилась, и Степа протянул девушке бутылку. Ему вдруг стало противно все происходящее... Захотелось оправдаться, протрезветь, удивить эту девушку... Показать, что на самом деле он совсем не такой... Степа достал из кармана мятые купюры. Отдавая их девушке, он даже умудрился слегка погладить ее маленькую руку. Девушка посмотрела испуганно, но Степа сделал вид, что ничего не заметил.

— Скажите, могу я вечером встретить вас после работы? — спросил он почти галантно.

— Молодой человек, не задерживайте очередь, — послышалось сзади.

— Одну секундочку, извините, сейчас...

— Эй, парень, ты русский язык не понимаешь? Купил — уходи! — сказал голос с акцентом уже с другой стороны.

Степа обернулся и увидел идущего к нему охранника. Когда тот приблизился, Степа ловко схватил бутылку и что было силы обрушил ее на чернявую голову неприятеля. Бутылка вдребезги разлетелась, женщины закричали, кто-то уронил корзину с продуктами... Охранник свалился на пол как плюшевый, легко и тихо. Кровь текла по его лицу. Степа бросил

оставшееся в руке горлышко и стал добивать лежавшего ногами. Наконец он перестал. Выпрямился, тяжело дыша, вытер ладонью лоб. Внезапно он увидел все словно со стороны — торговый зал, орущих женщин, беспомощное тело охранника... Он еще раз взглянул на оторопевшую от ужаса кассиршу, огляделся и медленно пошел к выходу. Остановился у самой двери, постоял несколько секунд, неуклюже присел на корточки и заплакал.

Николай Карлин

.....

Неожиданный пассажир

Сергей возвращался домой привычной дорогой. Новенький «форд мондео» легко и плавно глотал дорогу, позволяя хозяину расслабиться. По пути Сергеем захотелось съесть хот-дог. Причем не простой хот-дог, а непременно такой вредный, перенасыщенный горчицей и кетчупом, какие продают на заправках Neste. Рабочий день (Сергей работал юристом в фирме) вышел тяжелым, и он чувствовал, что этот хот-дог заслужил.

Сергей припарковал машину на заправке и зашел в кафе. В кафе было уютно и тепло. Он съел хот дог, вытер руки салфеткой и направился к машине. Дома его ждали диван, телевизор и развлекательная передача с Андреем Малаховым.

Подходя к машине, Сергей привычным жестом сунул руку в карман. Ключей в кармане не обнаружилось. Зато обнаружилось кое-что другое, очень неожиданное и неприятное: на пассажирском сиденье сидел какой-то белесый парень с красным лицом и приветственно махал рукой. Жест его говорил: «Заходи, не стесняйся!»

Сергей рывком открыл дверь.

— Ты как в машину попал? — возбужденно крикнул Сергей.

Парень умоляюще поднял руки:

— Брат, брат, успокойся! Если бы я хотел угнать твою машину, давно бы угнал! Ключи-то ты мне оставил!

Сергей выругался про себя. Вот ведь как устал на работе: даже ключи в машине забыл. Так, чего доброго, и квартиру забудешь запереть. И теперь еще разбираться с этим нахалом...

— Я не вор, — торопливо говорил парень и заглядывал ему в глаза. — Я здесь рядом живу, в слободке на Ильичевке. Мне помощь нужна...

— Ничего не знаю, — холодно сказал Сергей. — Даю тебе полторы секунды, чтобы ты встал и убрался.

— Зачем ты так? Надо быть добрее к людям, доброта открывает сердца... — заныл парень. — Подожди, выслушай меня...

— Ладно, валяй! — Сергей усмехнулся. — Даю тебе двадцать секунд. Ну? — Ему это показалось самым простым способом решения проблемы. Выслушать парня, отказаться, и поехать домой.

— Мне тетку надо везти на обследование. У нее язва. А на такси денег нет.

— Скорую вызывай к своей тетке!

— А чё скорая? Она же не помирает.

Сергей даже вспотел от возмущения.

— Какая еще тетя, какая больница?! — почти крикнул он. — При чем тут я? Что ты грузишь-то меня?!

Парень плаксиво заныл:

— А я при чем? Мне тетка даже не родная, а жена дяди покойного... А он у моей матери, если хочешь знать, золотые сережки украл и пропил. И еще колечко с изумрудиком... Только меня тогда еще на свете не было, мамка рассказывала...

— Парень, да ты что — сдурил?

— Нет, ты послушай меня! — не унимался тот. — Не будь эгоистом, сделай доброе дело, и тебе воздастся. А тетка помрет от язвы — как я тебя поминать буду, какими словами? Ведь ты в ее смерти виноват будешь... Вот скажи, ты давно в последний раз доброе дело делал?

Сергей волей-неволей задумался. А ведь действительно, давно. Так давно, что он даже сейчас и не вспомнил.

— Знаешь что? — говорил белесый. — Ты мне помоги. А доброе дело потом и тебе зачтется.

— А куда тетку везти?

— На Сухаревский проспект.

— Из Ильичевки?

— Ага.

Сергей крутанул ключ зажигания.

— Ладно, уговорил, — сказал он и выругался шепотом. — Устроим день добрых дел. Отвезем твою тетку!

Он сам удивился, когда это сказал. С другой стороны, до Ильичевки было всего километров семь, а оттуда до Сухаревского проспекта — еще, самое большее, пятнадцать. Сергей подумал, что, в конце концов, это не так уж страшно. Малахова он пропустит, конечно, но...

— Вот спасибо тебе! — парень на пассажирском сиденье явно приободрился. — Знаешь, а я в тебе не ошибся! Я сразу понял, что ты парень что надо. Тетка в беде — я ей помогаю. Я в беде — ты мне помогаешь... Завтра ты попадешь в беду — я тебе помогу. Нужно всегда помогать...

— Логика железная, — вздохнул Сергей.

А что, собственно, он мог возразить? Если так посмотреть, то, получается, он и вправду должен разбиться ради чужого человека в лепешку.

— А тетка твоя быстро соберется?

— Да она готова уже...

Сергей вырулил с заправки. До развилки на Ильичевку ехать было всего несколько минут.

«Сейчас я доеду до дома, возьму неродную тетку этого парня и повезу ее куда-то, потому что ему так захотелось, — думал Сергей. — Замечательно. А если ему потом еще что-то понадобится? Сегодня я помог ему машиной, а завтра он в моей квартире попросит пожить?»

Сергей хорошо помнил — ему самому никто ничего просто так не делал. Ничего, даже самую малость. Все только просили и требовали. Все-все. Начиная с государства, вызывающего через рупор телевизора, чтобы он заплатил все мыслимые и немыслимые поборы, соблюдал все правила и регулярно голосовал на выборах, и заканчивая попрошайками на улицах. Всем есть дело до него. До его денег, заработанных потом и кровью. Все вокруг хотели, чтобы он думал так, как другим было удобно, и руководствовался бы их логикой. Даже в душу норовили залезть, не давали просто дать пожить спокойно.

И этот белесый парень... Он же как телевизионная программа! Включаешь телевизор, случайно попадаешь на передачу, которую и смотреть-то не хочешь, а там сразу же начинают вываливать на тебя информационный мусор. И ты уже

хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться о том, что услышал. Но телевизор можно выключить нажатием кнопки, а его как обесточить?..

Сергей искоса поглядел на парня. Тот словно что-то почувствовал и опять занял:

— А ты молодец... Ты настоящий мужик, честное слово... Сегодня ты мне помог — завтра все добрые люди тебе помогут...

Сергей не выдержал. Он резко затормозил у обочины, подошел к пассажирской дверце, открыл ее и резко рванул парня за шиворот. Белесый вылетел наружу, как пробка из бутылки: Сергей был гораздо сильнее. (Три дня в неделю из семи после работы он ехал не домой, а в спортзал, качать железо. И наконец все это пригодилось.) Сергей толкнул парня так сильно, что тот отлетел от машины и сел задом в сугроб.

— За что? — всхлипнул парень.

Сергей пнул снежный бугорок и обдал парня фонтаном колючих брызг.

— А за все хорошее... Бывай.

Он вернулся в машину и плавно нажал на газ.

«А хорошо все-таки быть сильным, — подумал он. — Силу никакие аргументы не заменят. Как там говорил кто-то? „С добрым словом и пистолетом я добьюсь гораздо больше, чем просто с добрым словом!“. Кто же это был? В голове крутилось „Трумен Капоте, писатель“. — Вот, правильные там у них писатели! Не то что у нас — Достоевский и компания».

Анастасия Асанова

.....

День святого Валентина

День всех влюблённых! Цветы, подарки, валентинки... Ненавижу!

Кира была маленькая и худенькая. В этот праздничный день она надела всё чёрное. Волосы у нее были рыжие и лохматые. Светло-зеленые глаза подведены чёрным карандашом.

«Февраль, холод, а эти дыры капроновые колготки надели, думают, что красивые!» Негодование её переполняло.

Кира возвращалась из универа домой. Она училась на искусствоведа, потому что считала себя творческим человеком. Родители хотели запихнуть ее в медицинский, но Кира с ними разругалась, поступила в Герцена и переехала в старую квартиру, доставшуюся от бабушки.

«И ведь все ходят за ручки, целуются на каждом углу! Тьфу!»

Каждый Кириин взгляд испускал молнию. Даже солнце казалось ей слишком ярким, а небо — противно-синим. Вот наконец и квартира! Квартира — это возможность побыть одной без всех этих флюидов счастья. Она переоделась в уютную домашнюю кофту, смыла макияж и села пить чай. В комнате царил безжизненная тишина и одиночество. Вдруг раздался звонок в дверь — Кира даже подпрыгнула от неожиданности.

За дверью стоял долговязый курьер. Он был примерно её возраста. Образование явно его не волновало, как и всё остальное в жизни.

— Здравствуйте, — строго сказала Кира.

— Вот, велели передать, — сказал курьер в куртке с загодочной надписью «St. Valentine service», переминаясь с ноги на ногу и чавкая жвачкой. — Типа сюрприз.

Кира удивлённо подняла брови и расписалась. Потом быстро закрыла дверь и наклонилась над посылкой. Ее сердце слегка заныло.

«Значит, он обо мне ещё думает? А как же... Нет, я не прощу ему. Нет, я больше его не люблю».

Дрожащими руками она открыла большую розовую коробку. На дне которой одиноко лежала маленькая коробочка. Она была очень лёгкой. Неужели этот подлец решил поиздеваться надо мной? Кира резко выдохнула, открыла коробку, и... и... на свет выпорхнула прекрасная голубая бабочка. Она покружилась, залетела прямо в люстру и уселась на лампочку. Глаза Киры округлились. Она в первый раз видела такое чудо. Боже мой, что же с ней делать?

Кира быстро нашла все ответы в Интернете. Оказалось, что бабочки живут при температуре 23–30 градусов. За пару минут она устроила из комнаты тропики. Все окна были закрыты. Она кипятила воду на плите и пускала пар утюгом. Предстояло самое сложное: вытащить бабочку из люстры, не повредив крылья. Кира оставила включенной только настольную лампу. Началась спасательная операция. Бабочка сразу доверилась и переступила тонюсенькими лапками на пальцы Киры, а потом сложила хрупкие крылья. Кира освободила ее из плена, но бабочка не хотела улететь от хозяйки. Кира трепетала от такой доверчивости и беззащитности.

— Назову-ка я тебя Амалией. Нравится?

Кира бережно пересадила Амалию на шкурку апельсина. Потом нарезала сочный фрукт и подсунула ей под лапки. Амалия распрямила хоботок и жадно впилась в оранжевые дольки.

Кира наблюдала за бабочкой и думала: «Он даёт мне надежду. Хрупкую и маленькую. Но неужели он думает, что я прощу его после такого предательства?»

Бабочка уже несколько часов сидела на одном месте.

— Амалия, ты что? Дурочка, тебе жить только пару недель! Летай, двигайся, радуйся, а то так и не поймёшь ничего в этой жизни!

Бабочка не реагировала. Кира задумалась.

«Тоже мне, нашёл что подарить. Садист. Хочет, чтоб я порадовалась, а потом...»

Кира подсунула бабочке пальцы, и та потихоньку переступила на руку.

— Амалия, твоя жизнь коротка, летай!

Она поднесла бабочку к кастрюле, от которой бил пар. Бабочка раскрыла тонюсенькие крылышки и закружилась под фонариком вытяжки. Кира испугалась: а вдруг повредит крылья? Может, её лучше в банку или коробку?

«Нет, ей нужна свобода, — решила она. — Пусть поранится, но будет жить».

В выходные Кира была занята бабочкой. Она любовалась Амалией и думала: «Но почему же он мне не звонит?»

В понедельник Кира надела своё любимое светло-зелёное платье. В универе она светилась от счастья и рассказывала подругам про свою Амалию. Когда она возвращалась домой, даже прохожие улыбались ей в ответ. Кира была похожа на яркое солнышко, которое может обогреть всех своей положительной энергетикой. Она знала: если он подарил ей такое чудо, значит, в его сердце живет любовь. Значит, его можно простить.

Вернувшись домой, Кира долго искала бабочку. Она снова нашлась внутри люстры.

— Амалия, какая же ты глупая! Куда ты залезла? Ты же себе здесь все крылья переломашь! — Кира пересадила бабочку на руку.

В квартире царило лето. Кира сама порхала как бабочка и напевала себе под нос.

«Наверное, мне нужно позвонить и поблагодарить за подарок... Странно, что он сам не звонит. Может, боится, что я его не прощу?»

Обычно, когда Кира долго не могла ничего понять, она начинала убираться в квартире. Вот и в этот раз она тоже взялась за уборку. Приведя в порядок письменный стол, Кира схватила валявшуюся на полу коробку. Из нее вывалилась записка: «Лилечке с любовью!»

Содержание

От составителя. <i>А. Аствацатуров</i>	3
БОРИС МЯЧИН	
Поэт	7
Письма песочного человека	12
Капитуляция	17
АЛЕКСАНДР ДОРОХОВ	
Володя	23
АНТОН РАТНИКОВ	
Дурачок	33
Контратака	37
Семейная сцена	41
ОЛЬГА МАЖАРА	
Барма	46
Untitled	52
В двух шагах от Львиного мостика	76
ЛЕОНИД ИЛЬИЧЁВ	
Пять условных единиц	83
Брат президента Буша	88
НИКА СТЕЦЕНКО	
Никто не знает про Л.	96
НИКИТА МОИСЕЕНКО	
Взгляд, скользящий мимо	102
За дверь	109
АЛЕНА БЕСМАН	
Новая морда	111
ЖЕНЯ БРИК	
Квартира с окнами на Исаакий	115
Зачем, зачем	119
АНАТОЛИЙ ВАЙНШТЕЙН	
Рождение	124

ЕКАТЕРИНА ГЕСЬ	
If You Busy With Your Loneliness	127
Потеряв веру, солнце садится за горизонт	128
Краденые слова	129
ЕЛЕНА БУГМЫРИНА	
Ниточка	132
Уроки французского	134
ДМИТРИЙ ФЕВРАЛЬ	
L'internationale	137
МАРИНА МАЛОФЕЕВА	
Старик	149
МИХАИЛ ГРОМОВ	
Мороженое	160
Прыжок	167
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА	
Изменения возможны	176
ДМИТРИЙ ДИКАНОВ	
Утро Степана	179
НИКОЛАЙ КАРЛИН	
Неожиданный пассажир	183
АНАСТАСИЯ АСАНОВА	
День святого Валентина	187

Взмах

Литературный альманах

Редактор-составитель *А. А. Аствацатуров*
Верстка *Е. В. Житинской*
Корректор *Ю. Б. Гомулина*

Дизайн обложки Е. О. Шварёвой



Подписано в печать 00.12.14. Формат 84x108 ¹/₃₂
Гарнитура Уорнок. Печ. л. 6
Заказ № 2/08

Издательство «Геликон Плюс»
Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, дом 28
<http://www.heliconplus.ru>